Р2
С75

ф. е.

АНАТОЛИЙ СРЫВЦЕВ

Анатолий Альхон
Иван Молчанов-Сибирский

ПОЭТЫ С НАМИ

Казимир Лисовский
Михаил Скуратов
Евгений Буравлев

Анатолий Срывцев

ПОЭТЫ

С НАМИ

литературные
портреты

Р2
С75

Срывцев А. Н.

С75 Поэты с нами. Литературные портреты. Предисловие В. Трушкина. Кемерово, Кемеровское книжное издательство, 1978.

96 с. 10 000 экз. 40 коп.

Автор предлагает читателям литературные портреты известных не только в Сибири поэтов: Анатолия Ольхона, Казимира Лисовского, Ивана Молчанова-Сибирского, Евгения Буравлева, Михаила Скуратова. А. Срывцев пишет о людях, хорошо знакомых ему, увлеченно рассказывает о жизни и творчестве этих поэтов.

С $\frac{70302-19}{М145(03)-78}$ 20—78 Р2

67625

© Кемеровское книжное издательство, 1978.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
г. Ленинск
Кемеровской обл

ИСТОЧНИК ТЕПЛА И СВЕТА

Истинная поэзия обращена к человеку. Она всегда и неизменно служила и служит людям. В ней аккумулирован неиссякаемый источник душевной энергии, тепла и света. Поэт без остатка отдает людям свое сердце. Хорошо сказал об этом Евгений Буравлев в стихах, посвященных Леониду Мартынову:

— Очень трудно без песен.

Этот талантливый, к сожалению, безвременно ушедший певец современной, строящейся могучей Сибири не без основания полагал, что и «люди не могут без песен», что из потребностей человека в песне и рождаются в мире поэты. Стихотворение свое он заканчивает такой, характерной для него концовкой:

...Поэты
Сгорают дотла, как кометы,
Только росчерком света
Озарив на мгновенье планету.

«Росчерк света...» Он действительно озаряет планету. Только озарение это не мгновенно, оно продолжительно во времени и воздействии своем на людей. Поэзия запечатлевает в нетленных кристаллах искусства эмоциональный и нравственный опыт поколений, вбирая в себя треволнения и страсти своего времени, накал чувств и мыслей современников. Все это как-то по-особому остро чувствуешь, знакомясь с новой книгой Анатолия Срывцева, вводящей нас в мир одухотворенного поэтического слова и его создателей.

В книге Анатолия Срывцева объединены пять литературных портретов сибирских поэтов разных поколений и творческих индивидуальностей. Поэтов своеобычных, по-настоящему хороших и разных. Перед нами не про-

стое, чисто механическое собрание критических очерков. Читатель получит внутренне цельную и интересную книгу, дающую живое представление о своеобразии советской сибирской поэзии на различных этапах ее истории. Перед нами развертываются отдельные звенья ее, от истоков до нынешних дней, отразившихся в творческих биографиях Анатолия Ольхона и Михаила Скуратова, Ивана Молчанова-Сибирского и Казимира Лисовского и самого молодого — Евгения Буравлева. Обширны историческая география, тематический диапазон их поэзии.

Старая каторжная, бродяжья Сибирь, суровая героика гражданской войны запечатлены в стихах Михаила Скуратова во всем их неповторимом колорите, живописно и ярко, во всем своеобразии красок и языка. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» оживают и во многих произведениях Анатолия Ольхона. Отважные землепроходцы и ссыльные декабристы, Николай Гаврилович Чернышевский, томящийся в далеком, промороженном Вилюйске, и, наконец, пионеры освоения Крайнего Севера — «окраин милой Отчизны» — герои многих стихов и поэм Ольхона. Поэт одним из первых в русской поэзии во весь голос заговорил о социалистическом преобразовании Сибири, покорении Ангары и Арктики. Так, под пером этих поэтов старшего поколения развертывается широкая историческая панорама поступательного движения времени и судеб народных. Казимир Лисовский в ряде случаев тематически перекликается со Скуратовым и Ольхоном, но пойдет дальше, поэтически осваивая современность, вплоть до наших дней. Кроме того, в лирике Лисовского сильно прозвучала тема дружбы народов — вспомним хотя бы его великолепные новые «польские стихи». Интересно, на протяжении многих лет, разрабатывается поэтом ленинская тема.

В творчестве Ивана Молчанова-Сибирского, одного из зачинателей советской поэзии в Сибири (вместе с Михаилом Скуратовым и Иосифом Уткиным он входил в ИЛХО — первое литературное объединение комсомольских поэтов двадцатых годов в Иркутске), на долгие годы ведущей, определяющей стала тема защиты Отечества. Тема эта уже отчетливо прозвучала в раннем стихотворении Молчанова — «Военорг», датированном 1924 годом, прошла через лирику тридцатых годов и увенчалась уже в послевоенное время таким превосходным стихотворением, как «Дуб в пустыне Чахар».

Завершает книгу А. Срывцева о поэтах очерк о творчестве Евгения Буравлева, талантливого лирика. Евгений Буравлев — это уже наше «сегодня»: великие стройки Сибири, психология и облик молодого рабочего человека. Особенно остро звучит в лирике поэта морально-этическая тема, проблемы нравственного климата и нравственного бытия, моральных критериев и норм человека, человеческих взаимоотношений в нашем столь не простом современном мире.

Таким образом, литературный портрет Евгения Буравлева у Анатолия Срывцева логически завершает его наблюдения и раздумья над творческими судьбами сибирских поэтов, путями развития русской советской поэзии в Сибири. При этом автор всякий раз учитывает творческое своеобразие, индивидуальный художественный «почерк» каждого из поэтов, о которых он пишет. Я бы сказал: это книга писателя о писателях, причем писателя с хорошим эстетическим вкусом, с отличным чувством слова, с тонким проникновением в секреты «святого ремесла», говоря словами Каролины Павловой. Его очерки о поэтах далеки от бесстрастного историко-литературного исследования. Скорее, это небольшие, изящно, со вкусом ограненные рассказы о своих современниках, в которых ведется живой, непринужденный разговор о талантливых людях, повстречавшихся автору на его жизненном пути, разговор о поэтах, остающихся всегда с нами, о животворном начале в их поэзии.

Анатолий Срывцев давно уже заявил о себе в литературе как прекрасный рассказчик-мемуарист, автор книг, ставших заметным вкладом и в поныне небогатую еще мемуаристику о литературной Сибири. Особенно примечательна в этом отношении его последняя книга «Свидание», в которой воссозданы яркие человеческие портреты сибирских литераторов: драматурга Павла Маляревского, прозаика Николая Устиновича, поэта Анатолия Ольхона, фольклористки Марии Красноженовой, украинского новеллиста Григория Косынки. Не случайно старейший сибирский поэт Михаил Скуратов, человек, влюбленный в образную выразительность, свежесть и меткость народного слова, писал, представляя читателю в сопроводительном вступлении «Свидание», об изобразительной силе, красочности языка Срывцева-мемуариста, восхищался его искусством рассказчика. «Проза отличная! Дай бог каждому», — писал Скуратов.

Новая книга А. Срывцева о поэтах, обладая всеми ка-

чествами хорошей прозы, вобрала в себя еще одно, так нужное качество — вдумчивый анализ поэтического творчества, взятого в его становлении и развитии, анализ идейно-тематической и образной системы, ритмико-интонационной структуры рассматриваемых им поэтов.

Для примера сошлемся здесь хотя бы на его превосходный очерк об Анатолии Ольхоне. Автор создает поистине живой, многомерный, взятый во многих измерениях портрет поэта и человека, причем человека сложного и далеко не однозначного. Достигается это разными путями. Внешние, схваченные цепкой памятью истинного художника детали портрета, обстановки, дополняются живыми интонациями разговора, когда так и кажется, что слышишь слегка глуховатый, окающий вологодский говорок поэта. И тут же, органически врастая, идет серьезный разбор творческого пути певца «окраин милой Отчизны», впечатляющий и убедительный рассказ о том, как навсегда уходит в небытие малооригинальный лирик Анатолий Пестюхин, чтобы уступить место вновь родившемуся незаурядному сибирскому поэту Анатолию Ольхону. И все это сопровождается нелицеприятной характеристикой тем, мотивов и ритмов поэта. Так достигается цельность и целостность индивидуально-человеческого и поэтического облика Ольхона.

В аналогичном ключе рисуются автором творческие портреты и других поэтов, вошедших в книгу. Иногда это внутренне законченный портрет, иногда же этюд к портрету, как, скажем, в эскизном рисунке, посвященном Михаилу Скуратову, но всегда, во всех случаях перед нами добротная проза, эмоционально-насыщенное повествование о судьбах поэзии и поэтов, чье творчество будит живой отклик в сердцах наших современников.

Несомненно, думаю, новая работа Анатолия Срывцева найдет своего благодарного читателя.

В. ТРУШКИН,

доктор филологических наук,
профессор.

ПЕВЕЦ РОДИМОЙ СТОРОНЫ

1

Сибирь он любил нежно, по-сыновьи, прикипел к ней сердцем. Северянин, с Вологды, он до приезда в Сибирь хорошо знал Крайний Север, бывал на побережье Белого и Баренцова морей, бороздил просторы Ледовитого океана, не раз пересекал стылую тундру.

«Тундра» — так и назывался сборник его стихов, вышедший в Москве в 1929 году. И когда два года спустя он попал в Сибирь, ему не пришлось творчески перестраиваться, искать тем, вживаться в сибирское бытие.

Однажды я спросил его, почему он взял себе псевдоним «Ольхон», тем самым как бы начисто зачеркнув поэта Пестюхина.

— Видишь ли, поначалу мне в Иркутске жилось, скажем мягко, трудновато: и безденежно и, как говорится, бесхлебно. Встретили меня здесь нельзя сказать чтобы ласково. Мужик я, ты знаешь, в литературных делах резковатый — и нагрубить могу, и говорю не стесняясь, что думаю... Передай-ка мне табак. Спасибо...

Вкусно затягиваясь голубоватым дымком, он продолжал:

— Короче говоря, разругались мы тут кое с

кем насмерть... Так вот, удрал я как-то от неустройства своего и тоски на Байкал. Приплыл на остров Ольхон. Штормило... Послушай, чего я тебе так рассказываю — лучше я стихи почитаю, и ты сразу все поймешь.

Пушечный, сдавленный гром,
Наковален тягучий звон:
Это байкальский шторм
Рвется на остров Ольхон.

Он читал вполголоса, но и приглушенному басу его было тесно в узкой комнатенке.

Удар! Удар! Сильней!
Рушится пеной прибой.
Камень воды верней —
Он принимает бой.

Так бы и мне стоять —
Грудью ветрам в упор,
Темные волны мять,
Славить седой простор.

Твердость у камня взяв,
Остров Ольхон, с тобой
Бурям преградой встав,
Я принимаю бой.

Могучий голос замер, растянув раздельно слова последней строки.

— Вот с той поры я — Ольхон, понял? А стихи эти, между прочим, написаны еще в тридцать первом и до сих пор не напечатаны.

— Напечатают.

— Да, теперь — да!

С этого памятного разговора прошло без малого сорок лет. В том, тридцать восьмом, году вышла его первая книга на сибирской земле — «Большая Ангара». Так для читателей появился новый поэт — Анатолий Ольхон. И мало

кто знал, что, как поэт, родился он дважды — впервые в 1924 году в Вологде, на страницах комсомольской газеты, и второй раз здесь, в Иркутске, четырнадцать лет спустя. С рождением Анатолия Ольхона навсегда исчез из литературы стихотворец Анатолий Пестюхин, автор четырех книг, изданных в Вологде и Москве, активный деятель сперва вологодского, затем московского «Перевала», сотрудничавший в «Новом мире», «Красной нови», «Огоньке», в «30 днях», «Прожекторе», «Красной ниве», «Смене», «Журнале для всех» и многих иных столичных изданиях...

И это была не простая перемена фамилии. Долгий десятилетний путь творческих поисков и жизненных невзгод пролег между последним московским сборником «Тундра» и первой опубликованной в Иркутске книгой. Из мешка литературного прошлого он взял с собой в новую дорогу немного — любовь к необжитым просторам и перемене мест. И, бог мой, какая была существенная разница между тем, что некогда писал Анатолий Пестюхин, и тем, как начал писать Анатолий Ольхон.

На рельсах изморозь хрусталится,
А на откосах звонок лед,
И осень, сгорбленная странница,
Тропой покинутой идет.
Заснули пади и заложины,
Ночами жуток вой волков,
И сумрак, чутко настороженный,
Ползет на гребень облаков...

Так описывал осень в тайге Анатолий Пестюхин. Многое здесь приблизительно, пейзаж зыбок, краски размыты заимствованной интонацией.

Грузные, сизые гуси
Гулко полощут крылами.
В дымном, полунощном небе
Солнце сгорело дотла.

Зайцы полярные трусят,
Филин гнездует на камень,
Лунный, обломанный гребень
Тушит промокшая мгла.

Сентябрь поднимает погоду —
Гремучую черную воду.
Чеканит плешивые ивы
Холодным, густым серебром.

Курчавится шерсть горностая,
Песец голубеет лениво,
Медведь-рыбоед на протоке
Хрустит осетровым ребром.

Это — «Осень на реке Индигирке» Анатолия Ольхона. Объемная материальность мира...

Анатолий Пестюхин-Ольхон родился в 1903 году в Вологде, в семье рабочего. Осваивал грамоту в приходском училище, после революции окончил среднюю школу, получил высшее образование в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А. И. Герцена. В юности был рабочим на лесозаготовках, в 1924 году стал профессиональным поэтом. Много лет сотрудничал в газетах, корреспондентом исколесил Крайний Север, Коми АССР, Украину, Закавказье, Среднюю Азию. Но богатые жизненные впечатления сплошь и рядом оборачивались у молодого поэта литературными реминисценциями, беглой зарисовкой, пестрой картинкой, расплывчатым цветовым пятном. «Зубы хищные белее перламутра», «свинцовые тучи», «морские невидимые излучины», «веселые матросы», которые «поют про золотые берега» — немало таких красивостей и литературных безликостей

рассыпано на страницах его ранних сборников.

Незаметно для читателей, как бы вдруг, ушел в небытие поэт Пестюхин, робкий выученик Блока, Есенина и раннего Сельвинского, и так сразу же, первой книгой заявил о себе Анатолий Ольхон, поэт самобытный, талантливый, с острым виденьем мира, владелец своего, крепкого, незаемного слова.

2

Литературное наследие Ольхона многообразно и во многом значительно. Он оставил после себя свыше сорока книг: писал стихи и поэмы, песни и частушки, волшебные сказки и документальные повести, начал роман и обнародовал историческую драму.

Переводческую его работу трудно переоценить. Он первым познакомил русского читателя с поэзией малых народов сибирского Севера, много переводил с якутского и бурятского. Он, можно сказать, открыл для России Михаила Тимофеева-Терешкина. И полнозвучным, семицветным русским поэтическим словом засверкали великолепно-образные стихи замечательного слепого певца-олонхосута. Не раз переиздававшиеся в московских и сибирских издательствах повести известных ныне якутских прозаиков Эрилика Эристина — «Марыкчанские ребята» и Николая Якутского — «Золотой ручей», также любовно и мастерски переведны Ольхоном.

Он не гнушался никакой черновой и часто неблагодарной литературной работы. Писал критические статьи и нелицеприятные рецензии на книги своих собратьев по перу, редактировал поэтический отдел альманаха, кропотливо вычи-

тывал и бережно поправлял стихи начинающих поэтов; в годы войны сделал тысячи строк стихотворных подписей к «Окнам ТАСС», большинство которых вряд ли теперь и сыщешь. Надо было — вел литературную консультацию, нужно было — давал в газету литературную хронику. Был он всегда в литературной и общественной буче. Но что бы ни делал он—всегда, везде главным делом жизни была для него поэзия. Ей отдал он свыше четверти века и умер на ходу, не дописав, оборвав на полуслове поэму...

Много в Сибири поэтов хороших и разных. Может быть, есть и подаровитей Ольхона. Но я не знаю другого поэта, который с такой щедрой отдачей души и сердца воспел Сибирь. Сибирь, которая могла быть злой мачехой, стала для него родимой матерью, землей обетованной, великой и радостной. Он исходил, изъездил, излетал ее — и не раз — вдоль и поперек.

Он встречал хмурые рассветы и провожал буйные закаты на Лене, его утлую лодчонку несла на своих гремучих волнах Подкаменная Тунгуска; он плавал раздольным Енисеем и пробивался сквозь ледяную толщу на Северную Землю; он прошел по черной тропе Витимскую тайгу; и резвые олени сотни верст проносили его по бескрайней белой тундре; он видел, как рвется в горы Тулдунь — быстрая вода, и медленно скользил на лыжах по медвежьему следу. Когда шумели, «будто водопады, сорвавшиеся с грузных облаков» дожди, он был на Вилюе; работая над поэмой, повторил скорбный путь Николая Чернышевского в Якутскую ссылку. Любовался голубыми снегами Колымы и на Большом Диомиде вглядывался в туманную тень американского берега...

Чуть ли не под каждым стихотворением Ольхона значилось: «Восточно-Сибирское море», «Бухта Амбарчик», «Берингов пролив», «Мыс Кутугунда», «Становище Булгонях», «Сангах-Тая», «Охотский берег»... И даты: 1945—1946, 1947, 1948. Это значит — побывал там, уже безнадежно больным, за четыре, три, два года до смерти.

«Для меня движение — работа,— убежденно и даже с каким-то вызовом говорил он.— Перестану ездить — брошу и стихи писать». Он так и умер в дороге, за тысячи верст от дома...

Каждая его поездка вырастала в стихотворение, поэму, книгу.

3

Однажды я пришел к нему. Он ходил по комнате и бормотал вполголоса, я успел разобрать только: «Ух, как сыро, как холодно».

Весь согнулся, вобрал голову в плечи, словно и впрямь его морозило, метался по комнате. Запали щеки, под глазами легли темные круги.

— Что с тобой?

Он недоумевающе посмотрел на меня, помотал головой, как от зубной боли.

— Видишь, работаю, да и нездоровится маленько,— ответил недовольно, видимо, помешал я ему.— Но раз пришел, слушай.

Ух, как сыро, как холодно!..
Словно подуло
Несусветною вьюгой навстречу, в лицо.
Деревянная дверь покачнулась сутуло,
Под ногой заскрипело крыльцо.
Плесень, изморозь, слизь...

Читал он против обыкновения тихо, тяжкие слова падали мерно, и смутно, неуютно становилось на душе.

Глухо здесь, в этой башне,
Закроешь калитку.
Два шага. И столетья уходят назад...

Он только что вернулся из утомительной поездки в Нижний Илимск. Осматривал знаменитую башню страшного Илимского острога, долго сидел в башне один, без провожатых, думал. В Илимске отбывал «студеные годы, мертвые сроки» Александр Радищев.

Сибирь Радищева, декабристов, Чернышевского занимала много места в творчестве Ольхона. О людях, «которые были», Анатолий Сергеевич никогда не писал приблизительно, доверяясь лишь своему воображению. Он всегда стремился побывать там, где они жили, любили, страдали, взывали к правде, боролись, надеялись и ждали. Еще в студенческие годы он хорошо узнал Ленинград — Петербург Радищева, Рылеева, Чернышевского. Не раз бывал в Петровском, Нерчинском заводах и других местах декабристской каторги, объездил, обходил пешком деревни, села и города, куда вышли на поселение посланцы свободы. А сколько листов архивных документов прочел и изучил он, близоруко склонившись над поблекшими, пожелтевшими страницами...

Сибирь политической каторги и ссылки не была для Ольхона дежурной проходной темой. Минувшие годы он пережил в своей поэзии как современник. Он словно сидел в промерзшей башне с протопопом Аввакумом, томился в одном Мертвом доме с Достоевским, тосковал с

Кюхлей по милым сердцу друзьям в богом забытом Баргузине, низко кланялся вместе с лихим ямщиком безымянным камням на границе Урала, навсегда расставаясь с Россией.

Особенно привлекала его титаническая фигура Чернышевского. Свою «Ведомость о секретном преступнике Чернышевском» он писал не главу за главой, подряд, как обычно писал все. Поэма складывалась у него годами, писалась по мере осмысления материала. Еще не были завершены «Своды законов», а он уже задумал «Во глубине сибирских руд», набрасывал «Места отдаленные». И трудно было сказать, что родилось позже, что раньше. Он кропотливо рылся в архивах, прочитал все, что было и появлялось печатного о Николае Чернышевском,— особенно мемуары, письма, снова и снова обращался к его сочинениям, переписывался с внучкой великого критика, хранительницей Саратовского музея. И ездил, и ездил по иркутской, якутской стороне, где хоть однажды ступала нога Чернышевского...

При жизни Ольхона «Ведомость о секретном преступнике» четырежды выходила отдельными изданиями. Думается мне, критика не оценила по достоинству долголетний труд поэта. Больше всего упрекали автора в том, что не всегда и не везде в поэме на переднем плане проходит Чернышевский, в том, что поэма как бы распадается на отдельные картины — большие стихотворения или сами по себе маленькие поэмы; упрекали в многолюдстве и даже в том, что поэт-де слишком широко размахнулся, надо бы взять материал... поуже.

Теперь, когда давно утихли страсти, нелишне будет заметить: каждый автор имеет право на творческие поиски, право каждого писателя са-

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА г. Гурьевск Кемеровской обл. 67625.

мому выбирать форму своего произведения. И в том, что Ольхон отказался от целостного сюжета, может быть, как раз самая сильная художественная сторона поэмы. Лирическое начало, авторское «я» часто звучит в поэме свободно и обнаженно. С пронзительной силой, тоскуя и любя, найдя те единственно нужные, точные, щемящие слова, писал Анатолий Ольхон о тысячах тысяч, о русских простых людях, что прошли Владимиркой и растянулись бесконечными этапами по большим и малым сибирским дороженькам.

— Гляди, идут...
Шатаются, качаются,
Котомки на плечах;
С прохожими встречаются,
Оковами стучат.
...Без имени, без отчества,
Ослабли с голодух.
Идут в цареву вотчину,
На каторгу идут.

Вместе с поэтом читатель проходит путь сибирский дальний — и старым Якутским трактом, через печально знаменитые деревню Куда, село Оёк, минует ни село ни город Качуг, выходит на повитый туманами Усть-Кут; явственно слышит, как падает тяжелая ледяная капель в страшной Илимской башне, осыпается липкая сырость в Вилюйском остроге, различает отчетливый звон кандалов...

Слышишь ты, в тайге заголосили:
— Потерялся след...
Много дальних есть дорог в России,
Дальше этой нет.

И нужно было, чтобы появился советский поэт, который с такой гневной силой, художествен-

но-ярко и темпераментно рассказал о камерах-погребах Александровского централа, бесконечных арестантских этапах, на которых сотни лет — от Петра — голосила Россия, о «Нерче — городе арестантов», наконец, о невиданных, вскормленных пятым годом беглых в Сибири:

— Здравствуй, мятежник,—
Бездонный Байкал!..—
Слесарь путиловский цепь расковал,
Шапкой слезу одинокую вытер:
— Что ж, до свиданья,
Расстрелянный Питер.

Пройдет немного лет, и этот путиловский слесарь в семнадцатом будет подымать на борьбу с царизмом иннокентьевских железнодорожников, в годы гражданской водить против Пепеляева и Колчака красные партизанские отряды. А рядом с ним встанет другой большевик, мужицкий сын Николай Бесхлебных, отец которого некогда получил пятнадцать лет каторги за дележ барских закромов...

И обо всем этом напишет Анатолий Ольхон в своих стихах и поэмах. Он не забудет ни прославленных героев, ни великих рядовых революции, ни павших в борьбе, чьей кровью и смертью завоевана светлая жизнь последующих поколений. Поэт подводит читателя к гранитному столбу над братской могилой:

Седому камню,
Кто б ты ни был, поклонись!
Любовь, и ненависть, и мужество зови...
Запомни, что стоишь ты на крови.
И если хочешь ты прожить большую жизнь,
Здесь клятву дай
И верным быть учись...

Родное прошлое было для поэта не далекой историей, а вчерашним днем, который учил, как

жить сегодня. И Радищев, и декабристы, и Чернышевский, и слесарь путиловский, и сын крестьянский Никита, и пулеметчик Петр Стрижков, и Дарья-партизанка, и рабочие-рудознатцы — все, все они встают в стихах и поэмах Анатолия Ольхона нашими живыми современниками, нужными нам и сегодня.

4

Давно это было, перед самой войной. Он заходил ко мне в квартиру раным-рано, беспощадно подымал с постели, и мы отправлялись на Ангару. Синяя река стремительно катила тугие волны. Меж берегами висела, застыв, серая громада моста. Заречные дали зеленели округлыми холмами. Легкий ветер приносил с реки запахи рыбы, острой свежести и чуть горьковатый пароходный дымок. Ольхон широко раздувал ноздри, с шумом вдыхал воздух, словно желая вобрать в себя и синюю реку, и зеленые холмы, и серый мост, и чистое, пронизанное солнцем пространство.

— Ух, брат, ух, живем! До чего хорошо живем! — восклицал он и, закинув сцепленные руки на затылок, с хрустом расправлял впалую, но еще крупную, широкую грудь. Он замолкал, чтобы перевести дух, а затем продолжал:— Нет ничего лучше нашей Сибири. Это я утверждаю окончательно и бесповоротно. Придет время — когда-нибудь вспомянешь мои слова — сюда будут проситься за ради бога. А мы, сибиряки,— хитренько улыбнулся он,— еще подумаем, кого пускать, кого нет, кого звать, а кого в шею гнать.— Он довольно рассмеялся.— Право, из Москвы к нам насовсем приезжать будут...

Повернувшись всем корпусом к Ангаре, он загремел на всю набережную:

Светла, могуча, широка,
Прекрасна ты, моя река,
Любовь и гордость рыбака...
Но я хочу, чтоб твой разбег
Взнуздал упрямый человек.

Редкие в этот час прохожие удивленно посматривали на поэта, некоторые, узнавая, молча кланялись. А он с необычайной, даже для его голоса, силой закончил:

Дорогу в будущность открой,
Вставай скорей, Ангарострой!

Ольхон не дождался появления Иркутской и Братской ГЭС, строительства Красноярской и Усть-Илимской, ему не довелось увидеть Шелиховского алюминиевого завода, Академического городка под Новосибирском, троллейбусов и высотных домов в сибирских городах; ему не пришлось встречать веселые эшелоны парней и девчат, съехавшихся со всех концов страны «покорять Сибирь»: на меньшее они не были согласны.

Ольхон не дожил до всего этого, но задолго до появления электрических солнц над Сибирью поэт пел будущий Ангарострой. Он воспевал разведчиков недр, первооткрывателей сказочных богатств, стихами и прозой утверждал прекрасное настоящее и еще более чудесное будущее сибирской земли. «Звезды полярного круга», «Байкал», «Восточный сектор Арктики», «Окраины милой отчизны» — так назывались его последние книги. Жадными очами смотрел поэт на сибирскую новь, на вчерашнего челдона — пахаря и зверолова, ставшего водителем

полярных кораблей, смелым работягой-пилотом северных рейсов, горноразведчиком-геологом, мужественным шофером «Золототранса». Гордостью за нового, советского человека, торжественным гимном во славу его звучат стихи Ольхона:

Полюс холода!
Черного неба зиянье.
Белых пиков над тундрой чудовищный взлет.
Полюс холода.
Здесь замерзает дыханье,
Спирт густеет, а ртуть превращается в лед.

И дальше:

Там, за тучами, наша легла автострада,
Прорубила у каменных мамонтов лбы,
И уже к океану прошли для парада,
В телеграфных шеренгах, стальные столбы.

Многоцветным полотнищем плещет сиянье.
Правда, митинг недолог и скромен на вид.
Да ведь здесь иногда замерзает дыханье,
А сегодня оркестр вдохновенно гремит...

Это настолько характерное стихотворение для Ольхона, что его не мешало бы процитировать полностью. Вы посмотрите, какие впечатляющие слова и образы отбирает поэт. Полюс холода — это край земли, «черного неба зиянье, белых пиков чудовищный взлет», здесь не то, что человечье дыханье — спирт густеет, в лед превращается ртуть. Здесь даже тучи — сухие, замороженные. И вот тут-то советские люди сквозь гранитные глыбы, над тучами пробили автостраду. Подвиг? Героизм! Да еще какой! Мы не видим, как это делалось, но, читая первую половину стихотворения, воочию представляем себе, чего это стоило. Но потом поэт как бы снижает тон, нарочито подчеркивая будничн-

ность свершившегося. Но ведь и митинг на шестидесятиградусном морозе, и добровольцы-музыканты — это ведь тоже, если хотите, героизм. А поэт заканчивает стихотворение сугубо обыденными, деловитыми словами: полюс холода превратился нынче в простой полустанок, который не каждый шофер и заметит. И эти простые, спокойные слова впечатляют читателя и прославляют строителей автострады куда сильней, чем если бы вдруг послышался гром литавр и барабанный бой...

В 1948 году безнадежно больной — и он хорошо знал об этом — Ольхон писал мне:

«...Вот и я, кажись, совсем отъездился, отлетался, отпутешествовался. Не хожу, а перемещаюсь, как пух. Катастрофически таю, веса не хватает 26 килограммов до минимума, а температура все ниже и ниже... Так-то! И не жалею, не зову, не плачу. Некогда. Заканчиваю книгу «Звезды полярного круга» и поэму «Служба погоды»; первая о друзьях-полярниках, с которыми беседовал, плавал, дрожал от холода и горел от спирта на самолетах, катерах, ледоколах и даже подлодке. Есть что вспомнить и помянуть многие годы бродяжничества. А «Служба погоды» тоже на северном фоне, это о нас с тобой... стареющих внешне, но не стареющих (утверждаю) душой».

«Звезды полярного круга» — мужественная книга о мужественных людях. И как обычно у Ольхона, люди из глубины веков идут рука об руку с нашим современником.

Упрямо вперед стремится Семен Иванович Дежнев. И имя его поднято славой на веки веков, а «этот глыбистый берег России держава

закрепила границею материков». И проливом Витуса Беринга, как некогда сам он, идет уже советский полярный флот. И наши молодые считают себя восприемниками дерзностных дел того, кто «прошел переулком забытым иркутским — на другой материк, за собой приведя заблудившийся век» — Колумба русского — Григория Шелихова. И там, где в 1820 году якоря российских кораблей «по-хозяйски ощупали дно»,— несет трудовую вахту советская китобойная флотилия «Слава». Вот так — все в тесном переплетении — вчерашний и сегодняшний день. Минувшее оттеняет, еще более подчеркивает значительность и величие настоящего.

Но, может быть, в «Звездах полярного круга», как и в других «северных» циклах Анатолия Ольхона, нас опять-таки больше всего привлекают стихи о простых, историей не отмеченных советских людях. «Путь жестокий — четыреста синих снегов, пять завьюженных северных дней» должен проделать на оленях почтальон, чтобы доставить свежую почту в город Колымск. И вместе с почтальоном к колымчанам «на страницах «Известий» приходит весна потеплевшим дыханьем времен». Кочует по Эвенкии, от стойбища к стойбищу, красный чум, и из радиоприемника слышат оленеводы «привет столицы». Там, где не было «ни зверя, ни птиц, ни растений», в до того недоступных хребтах Бырранга дорожники пробили кольцо камнепадов и открыли путь. Невероятным усилием воли вырывает из, казалось бы, неминучего ледового плена свой корабль старый полярный капитан.

Мирно и героически трудится наш Север — Советская Арктика. Так бы и славить поэту

труд советского человека, но Анатолий Ольхон не забывал и другое. Тревожась за судьбы мира, он писал:

Наш Север, от Чукотки до Петсамо,
Зарницами Победы осиян.

Все взято с бою,
Жертвами, трудами...
И, если где-то ветер посвежел,
Поднимем солнце выше надо льдами,
Циклон остановив на рубеже.

5

Ольхона часто в критической литературе называли «певцом окраин милой Отчизны». И впрямь, где только не путешествовала, не бродяжила муза поэта, но был всегда у него один особенно заветный уголок, куда он любил приходить и в дни радости, и в дни горечи и печали.

Байкал! Вот к нему возвращался Ольхон в своей поэзии постоянно. В честь славного моря он назвал два своих сборника: юбилейную книгу стихов и поэм за 20 лет, выпущенную Иркутским издательством в 1946 году, и годом раньше издание «Советского писателя» в Москве.

Веселое, красивое, кряжистое, могутное, статное племя лихих поморян толпится в байкальских стихах и поэмах Ольхона. И каждый человек на особицу, со своими ухватками, словечками, своим обличьем и своей судьбой. А все вместе — особенный байкальский народ. Рыбаки, соболятники, мореходы, геологи, старики и старухи, юноши и девушки — хранители трудовых заветов.

Множество раз приходил Анатолий Ольхон к Байкалу. В его могучем вольном дыхании и голубом просторе искал он и черпал свою поэтическую силу.

Я хочу таким же быть,
Как и ты, отец Байкал,
Вечно двигаться и жить,
Сохранить, что мир мне дал,
Я хочу, чтоб голос мой
Не дрожал и не старел...

«...Ты... находишь,— шутейно писал он мне как-то,—оказывается, меня лириком? Тут я тронут за живое. Мерси!..»

Да, Ольхон несомненно был тонким лириком. Нередко — уж время наше было подчас такое суровое! — он «наступал на горло собственной песне». Так называемой «чистой», скажем, любовной лирики у него не так уж много. Можно сказать — совсем мало. Но она была — эта нежная муза Ольхона,— пахнущая свежей таежной хвоей, первым снегом, вечерним холодком пустынной реки, застенчивая и, возможно, не очень приглядная муза. «Эта женщина одна, в целом свете мне видна,— некрасива, но горда и совсем не молода».

Пересказывать лирические стихотворения так же бессмысленно, как удерживать воду в решете. Поэтому я просто отсылаю читателя к его стихам — «Встречи с музой».

6

Поэтическое наследие Анатолия Ольхона — одна из самобытных страниц русской советской литературы в Сибири. Голос поэта не спутаешь с другими поэтическими голосами. Недаром в

свое время Василий Лебедев-Кумач, обозревая на страницах «Литературной газеты» творчество поэтов-сибиряков, утверждал: «Своеобразней других Анатолий Ольхон. Он продолжает разрабатывать в своих стихах мотивы и темы сибирского фольклора. Его ритм, интонации и образы свежи и своеобразны».

Все это верно. Но Ольхон не только «разрабатывал мотивы и темы» фольклора. Сибирский фольклор он знал в совершенстве и не только русский, но и других народов, населяющих Сибирь.

Анатолий Пестюхин-Ольхон был человеком большой поэтической культуры. Его богатая память хранила тысячи стихотворных строк. Но поэт Пестюхин, возможно, по молодости лет и ряду других сложных причин не смог преодолеть литературных влияний, выйти из-под поэтической опеки более талантливых и сильных стихотворцев. Попав в Сибирь, он нашел себя как поэт, нашел свою, многожды продуманную, прочувствованную, выстраданную тему. В его стихах появился свой ритм, свои образы, свои интонации, своя красочная палитра.

Стих Ольхона гибок, стремителен, певуч, нередко по-народному мудр, афористичен, пересыпан меткими сравнениями, эпитетами, разузорен ядреным, образно-метким простонародным словцом. Многие строчки поэта крепко западают в память, звучат как присловья и поговорки: «Здесь нету хлеба лишнего, но знают с давних пор: прокормит нищий нищего, а бедность — не зазор», «Одиноким не место в мире, легкий ветер былинку гнет. Испокон веков по Сибири — человек к человеку льнет», «На спине бубновым тузом припечатана судьба» и другие.

И было еще одно, что сделало его своеобразным, незаурядным поэтом. Работа! Тяжелая, подчас изнурительная, каждодневная — по многу часов — работа над словом. Злой недуг все сильней наваливается на него, сердечные приступы становились чаще, но; теперь уже ясно сознавая серьезность своего положения, он работал еще упорнее.

* * *

Незадолго до смерти он признавался в одном из писем: «Теперь, после многих лет работы, мне многое стало ясно в себе и еще больше в некоторых собратьях по перу. Суждены нам благие порывы, но немногое мы совершили. Я чуточку побольше сделал потому, что не жалел себя. Ты точно подметил, что я работаю, как дьявол. Но ведь в этом, и только в этом, я вижу цель жития, этим, и только этим, и борюсь с моей страшной болезнью...»

Он писал новую поэму, когда к столу поспешно подошла смерть. На полуслове оборвалась поэма, в последний раз ударило и остановилось сердце. Это было больное, закованное в жесткий известковый панцирь сердце мужественного и талантливого человека.

Потрясенный смертью Ольхона, якутский олонхосут Михаил Тимофеев-Терешкин писал в стихотворении «Памяти друга»:

...Песни твои — это песни сердца,—
Они гремели потоком бурным.
Они летели по всей Сибири,
Мы не забудем их никогда.
Души твоей чистота — в прозрачных,
В твоих росистых, рассветных строках,

В рвущихся к будущему, как к солнцу,
В непримиримых стихах твоих.
Так пусть же песни твои, товарищ,
Песни, что льются из сердца в сердце,
Песни, что жизнь на земле утверждают,
Будут памятником тебе.

Да будет так!

солдат поэзии

1

Угрюмую тишину порта разорвали гудки пароходов. В море стлались серые дымы чужих кораблей... Шестого марта 1904 года японская эскадра воровски подошла к Владивостоку и безуспешно пыталась бомбардировать город.

Много лет спустя кряжистый баталер канонерской лодки, посмеиваясь, рассказывал, как сын, тогда еще годовалый ребенок, неистовым ревом отозвался на грохот береговых батарей. Вспомнив былое, отец потеплевшим голосом затягивал песню о славном подвиге красавца «Варяга». Песня подымалась высоко-высоко, и грозно, предупреждающе звучали слова:

Врагу не сдается наш грозный «Варяг»...

Праздничными вечерами к отцу приходили приятели, такие же недавние матросы и солдаты, и тогда в доме рыдающие тенора́ скорбно выводили на «Сопках Маньчжурии».

Еще мальчиком Ваня запомнил, как было боязно и вместе с тем отчего-то радостно, когда, подвыпив, бушевал у них в доме огромный и нескладный солдат. Дробно постукивая деревяшкой ноги, солдат как-то боком носился по комна-

те и уже не кричал, а с трудом выдавливал из себя хрипящие слова.

— Что! Мы ее начинали, эту войну? Что! Мы ее проиграли, эту войну?

— Ну, положим, по шее-то нам надавали,— бухал за столом чей-то простуженный бас.

— На-да-вали... Это кому же, нам?— от язвительности голос солдата снижался до шепота.— Царю японец надавал, а не нам,— вдруг спокойно и тихо сказал солдат.— А народ, народ-то пусть только он тронет...

Мальчик завороженными глазами смотрел на непомерно большой кулак, рассекающий воздух, и думал: «Ну чего он говорит?.. Кто такого тронет?..»

И солдат этот, и бурные разговоры о русско-японской войне, и та почти физически ощутимая горечь, с которой говорили о поражении, в котором народ не был повинен, и несокрушимая вера в силу народную, что так пламенно звучала в словах одноногого солдата,—и многое другое вспоминалось Ивану Молчанову, когда он шагал в плотных рядах пехоты по маньчжурским дорогам осенью 1945 года. Обгоняя пехоту, в густой пыли проносились, громыхая гусеницами, тяжелые танки. Советские полки и дивизии неудержимо шли все дальше на восток, к Великому океану.

И на вечерних привалах, слушая, как поет песок под вкрадчивой поступью рыжих верблюдов, Иван Молчанов думал, что вот ему довелось увидеть собственными глазами еще одну победу своего народа, которому он посвятил все лучшее, что было в его творчестве. Ему, ставшему поэтом на семнадцатом году жизни, необычайно повезло. Он был свидетелем и участником мно-

гих событий, впитал в себя биографии множества своих сверстников.

Если читать стихи Ивана Молчанова-Сибирского сборник за сборником, то раскрывается очень цельная биография простого советского человека, которому перевалило за сорок, а то и за все пятьдесят. Этот человек как будто не совершил ничего особенного, а жизнь его часто равна подвигу.

Детство Молчанова оборвалось между двумя войнами и революциями. И было оно такое же босоногое, как у многих его сверстников, мальчишек железнодорожного пригорода Иркутска. И так же, как у многих, окончилось оно внезапно. Казаки арестовали отца — железнодорожного служащего.

...Детство сломано.
Игры забыты.
Вот она, «золотая пора»...
Уходил мой отец избитый
Неизвестно куда со двора.

А вскоре началась гражданская война и с ней горячая комсомольская юность. Первые комсомольцы глубоко чувствовали свою кровную связь со старшим поколением борцов. Не случайно именно им комсомольский поэт Молчанов посвящает свои ранние стихотворения.

Вечная слава погибшим в острогах,
Павшим геройски — вечный покой.
Спите спокойно, страдавшие много,
Спите, зажгли вы пожар мировой.

На смену павшим пришли новые бойцы. Героизму комсомола в годы гражданской войны посвятил Молчанов немало стихотворений. Но, может быть, особенно полно раскрывается светлый

облик бесстрашных комсомольцев-революционеров в его «Сказе о Бонивуре».

Привязали паренька у прясла,
Вьюга выла в Тигровой пади...
Говорят, в ту ночь звезда погасла,
Но горела на его груди.

А страна уже звала на новую великую битву за хлеб, за металл... Нужно было бороться с разрухой, восстанавливать транспорт, промышленность, засевать поля, овладевать знаниями, строить новую жизнь. И вновь по зову партии в первые шеренги строителей нового мира встал комсомол.

Первые комсомольцы! Чего только не переделали их золотые руки, умевшие владеть и заводским инструментом, и боевой винтовкой. Как часто, отработав на заводе смену, комсомольцы добровольно заступали во вторую; после вечернего гудка дружно, с песнями, шагали на очередной воскресник; закусывая на ходу, помахивая тощей связкой книг, летели на рабфак или вечерние курсы; бежали на собрание ячейки, антирелигиозный диспут, заседание редколлегии стенной газеты или в кружок самодеятельности. Как можно больше делать своими руками, везде поспевать, во всем участвовать!

Как много дел!
То выйти на воскресник,
Помочь стране воинственным трудом,
То паровоз чинить,
То делать песни,
Иль футболистами идти на циклодром.
Мы с песней шли вперед, «заре навстречу»,
Для нас пылала буйная заря.

В ту пору вместе с Иосифом Уткиным и Джеком Алтаузеном Иван Молчанов нещадно драл-

ся с «баркой поэтов» — иркутским объединением позднедекаденствующих поэтишек и поэтесок; писал в газету, учился, много и жадно читал. Комсомольская юность его была шумная, полная дерзаний, творчества, согретая нежной любовью и верной дружбой. Была она в суровой, требующей мужества, воли и жертв борьбе за дело рабочего класса. Бывало не раз, что смерть стучалась в комсомольский дом.

В тайге убит был друг наш на разведке
Во время поисков кулацких банд.
Могильный холм... Зеленой пихты ветки
И ленточка, завязанная в бант.
— Товарищ, спи!..
А в горле ком... и слезы...
И крепче держат руки смит-вессон,
И враг стоит у трепетной березы,
Твоею смертью — к смерти обречен.

Замечательно сказано! Даже смерть бойца приближала вражью гибель. Враг обречен всем ходом истории, самим фактом существования Страны Советов. Нужно постоянно держаться начеку, неусыпно стоять на страже родной земли. По призыву партии молодые комсомольцы идут в Красную Армию. Раскрывается еще одна новая страница в биографии молодого человека, героя поэзии Ивана Молчанова.

Более полувека назад написал он свои первые стихи о Красной Армии. Есть в них немало неуклюжих строк, неточных выражений, «красот стиля», без которых подчас бывает так трудно обойтись начинающему. Но уже в этих стихах присутствует то главное, что определило творчество Молчанова: поэзия его земная, крепко связанная с делами, думами и чувствами простых советских людей. И о чем бы ни писал

поэт, его стихи всегда проникнуты духом коммунистической партийности.

Тема Красной Армии, тема защиты Отечества властно входит в поэзию Ивана Молчанова и с годами занимает в ней все большее место. Призванный в армию двадцатидвухлетний молчановский герой-комсомолец берется осваивать военное дело так же самозабвенно, как он когда-то овладевал слесарным ремеслом в железнодорожном депо. В стихах этих лет Молчанов пишет об армейских буднях: разбивке летнего лагеря, боевых тревогах, воинской дисциплине. Его герои со всем пылом юности хотят скорее стать меткими стрелками, на «отлично» изучить уставы, быть примерными бойцами. В армии они чувствуют себя посланцами народа, поручившего им охранять мирный труд страны.

Верь мне, друг, и спокойно работай,—
Не воротится тяжесть оков...
Знай: в упорных советских ротах
Наготове щетина штыков,—

обращается молодой поэт-красноармеец к своему другу, деповскому рабочему.

Далеко не все совершенно в этих ранних стихах Молчанова, но они во многом определили тематическую и идейную направленность его дальнейшего творчества. И в тридцатых годах поэт будет вновь писать о полковых ученьях, ротных стрельбах, армейских маневрах. Во время Великой Отечественной войны поэт не раз обратится к молодым бойцам со стихами, в которых еще и еще раз подчеркнуто просто будет говорить о значении саперной лопатки и русского штыка.

В стихах Молчанова война не только высо-

кий душевный подвиг и героизм народа — это проверка воинского уменья, тяжелый ратный труд людей.

2

В тридцатых годах на страницах европейского романа еще хоронили мертвых первой мировой войны, а на площадях Берлина, Рима и Токио уже вновь трещали барабаны и выли военные трубы — фашизм готовился в свой бесславный поход. Империалистические барды на все лады воспевали меч и кровь, вдалбливали в головы читателей, что война есть наивысшее проявление человеческого духа. Германия Гитлера и Япония микадо готовили нападение на Советский Союз. Японские милитаристы, захватив Маньчжурию, вышли к границам СССР.

В ту пору Иван Молчанов пишет стихотворение «Японскому солдату». Поэт называет солдату-японцу его истинных врагов, тех, кто оставил его без работы, крова и хлеба, кто лишил солнца его детей. Он с гордостью говорит о несокрушимой мощи северской державы и заявляет, что советские люди войны не хотят, но не боятся угроз поджигателей войны.

Я руку тебе через море
Протягиваю, солдат.
Ты видел немало горя,
Взгляни поскорее назад.
Взгляни, кто смерти хочет,
Смерти твоей, солдат.
Таких, как ты,— миллионы,
Кто может сломить всех!
Пора, чтобы смолкли стоны,
Чтоб звонко звучал смех.

«Граница на востоке» — так называется сборник Ивана Молчанова, вышедший в 1939 году. Это книга о разгроме японского империализма на Хасане и Халхин-Голе, о воинской славе и воинском долге. Каждой строкой «Границы на Востоке» Молчанов подчеркивает величие, самоотверженность, героизм и мужество, беззаветную любовь к Отечеству советских людей.

Под ураганным огнем ползет связист. В любую минуту он может быть убит, но, превозмогая страх, ползет вперед. Он должен восстановить связь роты с батальоном, от этого зависит успех боевой операции. Гибнет, выполняя задание, храбрый разведчик Алекберли. Его товарищ, выхватив из рук мертвого героя знамя, устремляется впереди батальона навстречу врагу. В воронке от разорвавшегося снаряда лейтенант Мошляк открывает партийное собрание. Разбирают заявление о приеме в партию. Собрание прервано боем, и когда оно начинается вновь, оказывается:

А заявлений у отсекра больше стало.

Прославляя мужество и героизм тружеников войны, Иван Молчанов не забывает тех, кто пал на поле брани, чьей верностью и кровью была приближена победа. Комсомолец Василий Баранов повторяет подвиг Виталия Бонивура. Раненый, в бессознательном состоянии, он был утащен японцами за границу. Ни посулы, ни запугивания, ни страшные пытки — ничто не могло заставить советского бойца нарушить присягу, изменить Родине.

Глухою ночью буранной
Погиб Василий Баранов...

Теперь от границы близко
Сверкает звезда обелиска.
Девчата цветы полевые
К тому обелиску несут,
Поют про дела боевые,
На светлом просторе поют.
Мечтают там парни и дети
Недаром на свете прожить,
Не гнуться ни в грозы, ни в ветер
И Родине честно служить.

Так в стихах разных лет Ивана Молчанова идет перекличка поколений.

Книга «Граница на Востоке» и большой цикл стихотворений «Под небом Монголии» посвящены одной из значительных тем советской поэзии — защите Отечества, раскрытию патриотизма советских людей. Эта важная тема к концу тридцатых годов занимает большое место в творчестве всех советских поэтов. Иван Молчанов-Сибирский одним из первых попытался показать советского человека на защите восточных рубежей страны, и в этом его поэтическая заслуга.

3

Крутая лестница вела наверх. Под самой крышей была маленькая светелка с голыми стенами, вокруг щербатого стола теснились узкие солдатские койки. На стук выходил высокий лобастый человек со «шпалами» в малиновых петлицах. Он приветливо улыбался глубоко запавшими голубыми глазами и приглашал входить. Двумя этажами ниже потрескивала старая ротационка: печаталась фронтовая газета. Стояла лютая зима сорок первого года. За окном злые забайкальские ветры, казалось, со всех четырех сто-

рон мели сухой снег пополам с песком. Сидели в накинутых на плечи шинелях. Делили на шестерых небольшую луковку, заедая тоненькими ломтиками серого пайкового хлеба. Радушно угощали гостя.

В эту небольшую комнатушку с началом Великой Отечественной войны переместилась почти вся писательская организация Иркутска. Поэты и прозаики работали во фронтовой газете. Глухими ночами в этой же комнатенке или кабинетах редакции, когда смолкала газетная сутолока, Иван Молчанов писал стихи о мужестве и отваге воинов-забайкальцев, о подвиге и стойкости народа в Великой Отечественной войне.

Далеко на Западе шли тяжелые бои с фашистскими захватчиками. Проходили долгие месяцы, бои с гитлеровскими полчищами становились все упорней. Сибиряки рвались на фронт, но Родина не могла снять с восточных рубежей все войска — тут вдоль границы рыскал другой враг, вооруженный до зубов, и ждал только удобного случая, чтобы напасть на Советский Союз. Империалистическая Япония чуть ли не каждый день устраивала на кордоне вооруженные провокации. Тревожно было в те годы в Забайкалье...

В память этих дней осталось
В русой пряди серебро...
Но об этом не писалось
В сводках Совинформбюро.
В дни, когда к стенам столицы
Полк резервный подходил,—
День и ночь солдат с границы
Глаз усталых не сводил.
В дни грозы, когда над Волгой
Бушевал жестокий шквал,—
Забайкальской ночью долгой
Он свой пост не покидал.

В лютый зной и в холод адский
Неизменный часовой —
Выполнял свой долг солдатский
Забайкалец-рядовой.
Он не шел к Берлину с боем,
Вражьи танки не взрывал,
Он Отечество собою
На Востоке прикрывал.

Стихотворение Молчанова «Забайкалец-рядовой» читали и перечитывали, переписывали от руки. Оно крепко западало в солдатскую душу, образно выражая мысли, чувства и думы рядовых и офицеров Забайкальского фронта, знавших, что недаром они стоят на границе. Недалек тот день, когда придется посчитаться с коварным врагом на Востоке. И день этот настал.

На неприступные вершины,
Где не бывал и пешеход,
Взбирались грузные машины,
В степи закончив переход.
Неудержимою рекою,
Прошедшая немало стран,
Залогом мира и покоя
Россия шла через Хинган.

Стихотворный цикл «Дорога на океан» — лучшее из созданного Иваном Молчановым за военные годы. И сейчас, когда перечитываешь лаконичные и очень точные строки этого цикла, хорошее человеческое волнение охватывает тебя.

Советский народ пережил тяжелые годы. Он не жалел сил и труда во имя победы. Разгромив фашизм на западе, он победоносно закончил войну на востоке.

Потомки моряков «Варяга»
Врагу не сдали Сталинград.

Крепка старинная отвага,
Умноженная во сто крат...
Вновь Порт-Артур!.. Уже над фортом
Родные флаги расцвели.
Подходят к старым пирсам гордо
Моей державы корабли.

И снова, как сорок лет назад в родительском доме, все чаще слышал Молчанов у походных костров волнующую песню о «Варяге». И казалось поэту, что в рядах советских войск шагает в ногу со всеми и старый солдат из его далекого детства. «Народ — народ только тронь»,— уже весело и удовлетворенно говорит солдат.

Мир... Такой желанный, добытый тяжкой ценою крови. За мир для всех людей боролся на войне и солдат — поэт Иван Молчанов-Сибирский. Много стихов, призывающих к борьбе за постоянный мир на земле, написал он в послевоенные годы. По своей натуре Молчанов был глубоко мирным человеком, но не раз пришлось ему надевать военную форму, встречаться лицом к лицу с захватчиками, видеть кровь и смерть, безутешное горе вдов и сирот. Сердце поэта было открыто навстречу жизни, свету, человечеству.

После кончины Ивана Ивановича Молчанова остался его большой рукописный и иконографический архив. Сотни фотографий военного времени. Среди них много таких, где Молчанов снят с детьми. Поэт глубоко и нежно любил ребят, искал встреч с ними.

Любовь к детям сопутствовала всей жизни поэта. Недаром он столько написал для детей — от смешных, ярко раскрашенных книжек, где каждой картинке придан веселый стихотворный текст, до солидных по объему книг. Его по пра-

ву называли детским писателем, но он никогда не был доволен этой стороной своего творчества. Он мечтал написать однажды «самую настоящую» детскую книгу. Иван Молчанов-Сибирский явился инициатором и организатором «Базы курносых», книги, вскоре приобретшей шумную известность, вызвавшей многих подражателей и последователей. Не случайно Алексей Максимович Горький, обладавший удивительной способностью замечать все новое в литературе, высоко оценил факт появления коллективного труда иркутских пионеров. Всю жизнь, как самую драгоценную реликвию, хранил поэт повесть «В людях» с дружеской надписью великого писателя:

«Дяде Ване
Молчанову-Сибирскому.
Хорошее дело делаете, дядя».

Вслед за «Базой курносых» появилась книжка «В гостях у Горького», также пользовавшаяся любовью молодых читателей. Книги эти явились в детской литературе новым жанром коллективного рассказа, сцементированного единой идеей, общностью судеб героев и сквозным действием. Жизненные наблюдения юных авторов, их биографии тесно переплетались с вымыслом и веселой фантазией. Незадолго до смерти Иван Молчанов готовил эти книги к переизданию. Он хотел написать поучительную историю их возникновения, рассказать о дальнейших судьбах их героев. Будет хорошо, если это нужное дело доведут до конца наши издательства и друзья поэта.

4

В январе 1924 года на обороте фотографии, на которой было заснято оргбюро писателей Восточной Сибири, Иосиф Уткин написал Молчанову: «Дорогой Ваня, не забудьте наших первых поэтических собраний в тесной комнате». Нет, не забыл эти первые собрания Иван Молчанов-Сибирский. Вспоминали их и Иосиф Уткин и другие участники подобных же поэтических «сборищ» в Иркутске, Новосибирске, Хабаровске, Вологде или Одессе. Как часто в таких вот маленьких, насквозь прокуренных комнатках зарождалось где-нибудь на окраине Отчизны литературное движение. Вначале его участников просто не замечали, потом снисходительно похлопывали по плечу, начинали поговаривать, что «в них что-то есть», потом отсюда выходили на свежий простор поэты и прозаики, заявляли о себе читателю хорошими книгами, становились гордостью советской литературы.

Ныне пришла пора, когда перестали делить писателей на «столичных» и «периферийных», когда из обихода исчезает термин «местная литература». Но, право же, не мешает вспомнить, с каким трудом многие широкоизвестные теперь произведения, написанные «местными» авторами, утверждались на всесоюзной читательской полке. И «Даурия» К. Седых, и «Строговы» Г. Маркова, и «Каменный фундамент» С. Сартакова, и многие другие талантливые книги сибирских, уральских, ростовских, дальневосточных писателей могли бы на много лет раньше стать достоянием читателей всей страны, если бы в свое время существовало более внимательное отношение к общесоюзному литера-

турному хозяйству. Пожалуй, особенно важно вспомнить поэтому тех неутомимых организаторов литературного процесса на местах, заботливых, бескорыстных воспитателей литературной молодежи, благодаря которым широко читаемые теперь произведения вышли в свет.

Я помню, как весной 1952 года на вечере, посвященном присуждению Государственной премии писателям-сибирякам, поднялся Павел Маляревский. Первые его слова были обращены к Ивану Молчанову. В том, что его пьеса «Канун грозы» высоко отмечена, сказал Маляревский, он усматривает не только и не столько свою личную литературную заслугу. «Если бы не ваша повседневная дружеская помощь и заинтересованность, не помощь всей Иркутской писательской организации, мне не удалось бы завершить работу над пьесой». К Маляревскому горячо присоединился и Георгий Марков.

Все это было вполне справедливо. Четверть века возглавлял Иркутскую писательскую организацию Иван Молчанов-Сибирский. И не один десяток людей получил от него путевку в литературу.

Молчанов-поэт и писатель неотделим от Молчанова-общественного деятеля, борца за мир, ревностного организатора литературных сил Восточной Сибири.

Иван Молчанов-Сибирский видел счастье художника в том, чтобы писать о народе и для народа, жить его думами и чаяниями. Он был глубоко партиен в своем творчестве.

О чем бы ни писал Молчанов — о воинских ли подвигах или о мирных делах,— героем его стихов всегда был рядовой советский человек. Стихи поэта проникнуты животворным советским

патриотизмом — неотъемлемой чертой характера советского человека.

С мыслью о Родине прошел свой тридцатипятилетний творческий путь Иван Молчанов-Сибирский. Немало было на этом пути поэтических промахов и неудач, не всегда на высоте стояло мастерство поэта. Понадобились многие годы, прежде чем он пришел к подкупающей ясности стихов последних лет, собранных в книге «Письмо из тайги», и особенно заметной в разделе «Дорога на океан». В довоенных стихах, даже в лучших книгах, попадаются досадные длинноты, неточные слова, приблизительно выраженные чувства, нет-нет да и врываются чужие поэтические интонации. Поэт созревал медленно и трудно.

Надо отдать справедливость Ивану Молчанову,— многие стихи прежних лет, включаемые в последующие издания, он основательно сократил, переработал, и они приобрели бо́льшую выразительность. Это, разумеется, хорошо. Но нередко, к сожалению, расхваливая того или иного поэта за необычные рифмы и яркую расцветку словесной ткани, некоторые критики забывают о конкретном содержании стихов, о той человеческой, партийной правде, которую они несут собой. И мастерство поэта и содержание его творчества должно быть созвучно времени, отвечать духовным запросам советского человека. Вне этого не может быть речи ни о каком мастерстве.

...Иван Молчанов прожил большую и хорошую жизнь. Много он исходил дорог, повидал родную страну и чужие земли. Много было у

него друзей среди рабочих, колхозников, солдат и офицеров, литераторов. Его образ — мужественного бойца и поэта-лирика — донесли до читателя его книги.

Есть у Молчанова-Сибирского раннее стихотворение «Смерть друга». Ночью, после похорон, оставшись один, поэт тяжело переживает утрату. Но ведь

Все проходит... и ночь пройдет.
Ты с улыбкой следишь за мною,
Новый день на работу зовет,
Без тебя, но с тобою.

Поэзия не умирает. Поэты всегда с нами! В многоголосом хоре советских поэтов — хороших и разных — по-прежнему звучит и голос верного солдата поэзии Ивана Молчанова-Сибирского.

Цена строки

1

В ту жестокую холодами военную зиму поэты и прозаики Красноярска собирались вечерами в книжном издательстве. В сыроватой, заставленной канцелярскими столами комнате было накурено и тесно. Под потолком тускло горела маленькая электрическая лампочка. В голые, без занавесей окна глядели высокие, чистые сугробы. Здесь, в этой неуютной комнатке, поэты часто читали новые, только что написанные стихи...

В один из таких вечеров худощавый, невысокого роста паренек тонким, срывающимся голосом декламировал длиннющее стихотворение. В поэтических строках стальные танки дробили тяжкими гусеницами вражью кость, в отчаянную атаку шла наша пехота, яростно била артиллерия... Забредшие из госпиталей на поэтический огонек фронтовики хмуро и недоверчиво улыбались: на войне все было сложней, грубей, обнаженней и — героичней. Они-то это знали.

Поэт читал одно стихотворение за другим. Было в них много звонких слов, пафоса, но еще больше приблизительных, слабых строк, истертых, избитых образов. Но вот паренек замол-

чал, обвел слушателей вопрошающими, настороженными глазами и, глубоко вздохнув, словно бы обретя наконец дыхание, проникновенно, с болью, тоской и страстью в голосе, начал читать:

И тучи, и невзгоды злые
Нависли над тобою вновь,
Но ты жива, моя Россия,
Надежда, Родина, любовь.
Пусть ветер раздувает угли,
И труден путь, и долог он.
Твой Новгород, твой старый Углич
Не выйдут к немцу на поклон.

И сразу посветлели лица. Офицеры, в накинутых на плечи серых шинелях, под которыми они кутали забинтованные руки, как бы подались вперед. Поэт читал, и с каждой строчкой креп его голос.

И снова в пору грозной сечи,
В годину бед, в тревожный час
Твой колокол на древнем вече
К оружию сзывает нас.
Мы нашу честь и наше знамя
На поруганье не дадим.
За нами — солнце! Правда — с нами!
И час победы — впереди!

С этого далекого вечера прошло ни много ни мало тридцать шесть лет. А я до сих пор помню то, казалось, превращение, которое на глазах слушателей произошло с поэтом: аморфные, вялые, несмотря на все наполняющие их «шумные» слова, стихи были словно стерты и заменены другими — полными мужества и высокой гражданственности. Поэт прочел то, что было нужно людям в ту вьюжную военную зиму, когда решалась судьба Родины, каждого из нас...

тихие пыльные улицы маленького городка Тульчина, где жило семейство Лисовских перед отъездом в Сибирь. «Первое, что поразило меня,— пишет Лисовский, рассказывая о своей встрече с землей сибирской, — какое-то волшебное богатство цветов. Огненно-яркие жарки, лиловые и алые саранки, желтые лилии, нежно-розовые башмачки, бордовые «марьины коренья» — все это создавало такую пеструю гамму красок, какую не часто встретишь и на юге. А ведь совсем незадолго до этого нас пугали Сибирью...»

Если прошлое вспомнить снова —
Тракт Московский, степную ширь,—
Самым страшным, пожалуй, словом
Было имя твое, Сибирь.

...Верстовые столбы. Остроги.
И двуглавая тень орла...
Да, для многих людей, для многих
Злою мачехой ты была.

И нужны были гнев и порох,
Сила ленинской правоты,
Выстрел мужественной «Авроры»,
Чтобы стала иною ты;

Чтобы имя твое, веками
Наводившее всюду страх,
Стало ныне любимо нами;
Чтобы кровными сыновьями
Стали люди в твоих краях...

Таким кровным сыном Сибири, певцом всех ее великих дел стал Лисовский. И не случайно так подчеркнуто назвал он некоторые свои сборники стихов: «Край песен моих», «Сторона моя сибирская», «Моя Сибирь», «Родному краю», «Утро Сибири», «Енисей, родной Енисей». И в стихах своих он не только воспевает Сибирь,

любуется ею, он активно, но всегда «поэтически» вступает в драку за Сибирь.

Высокой гражданственностью, действенным советским патриотизмом наполнены стихи и поэмы Казимира Лисовского. Но он еще и пейзажист и проникновенный лирик, умеющий точными, единственно нужными словами передать душевное состояние своего героя, нежными, акварельными, а то яркими, пронзительно-грубыми красками нарисовать картину природы.

Казимир Лисовский — поэт, как в старину говорилось, божиею милостию. Он пишет так, как живет — жадно, всем сердцем, горячо отзываясь на происходящее в стране, в Сибири.

Шагает по земле улыбчивый, с поседевшими висками, обветренными от стужи и частых походов лицом человек. Как гражданин и художник, он крепко уверовал в то, что «могущество России будет прирастать Сибирью». Убежденно и страстно, в стихах и прозе, он неутомимо повторяет это. Поэт выстрадал и пережил сердцем все, что создано им.

В одном из стихотворений Казимир Лисовский говорит о себе и поэтах своего поколения:

Не искали мы славы бойкой,
Не считали в залах хлопки, —
На зимовках,
В цехах,
На стройках
Мы узнали цену строки.

И если я скажу, что цена этой поэтической строки — высока, то это будет — правда!

ИСТОКИ

Передо мной стихи одного из зачинателей русской советской поэзии в Сибири — Михаила Скуратова. Пятьдесят лет назад вместе с Иосифом Уткиным, Иваном Молчановым-Сибирским, Джеком Алтаузеном, Леонидом Мартыновым, Ильей Мухачевым и другими, ныне широко известными поэтами он вошел в литературу.

Мне вспоминается давнее стихотворение Скуратова:

Искрится снег. За смуглыми горами
Купается негреющее солнце.
Белесый луч скользит по ветхой раме
И в комнату вбежал через оконце.

А за окном визжит хлевная дверца
И хлопают встревоженные ставни...
А ты чего, куражливое сердце,
Опять полно тревоги стародавней?

Всего восемь строчек. Так мало слов и так много добрых чувств, человеческого волнения. Обычные, даже обыденные и совсем, казалось бы, непригодные для поэзии слова — «визжит хлевная дверца», «хлопают встревоженные ставни», «куражливое сердце» — создают настроение, делают эти строки тем, о чем мы говорим: поэзия!

Настоящих, хороших стихов много у Михаила Скуратова. Мужественные образы первых русских землепроходцев, крепких, жилистых насельников Сибири, каторжное прошлое и бродяжьи россказни, разбойная вольница, сибирские бывальщины и таежные думы, пейзажные зарисовки и лирические миниатюры — все это мир скуратовских стихов. Поэт черпает темы в своей родословной, глубокими корнями уходящей в далекое былье Сибири.

С какой вот гордостью рассказывает, любуясь, поэт о своей удивительной бабке Василисе, главе могучего сибирского рода!

Ты была, моя бабка,
Павой статной, высокой.
Величава повадкой,
И глаза с поволокой.

И хоть был на ту пору
Не совсем по плечу ей —
Дед мой, смолоду хворый —
Все страдал почечуем, —

Но ему и народу
Подарила парней
Молодецкого роду —
Ровно десять, ей-ей!

А всего одну дочку,
Тетку свет-Аграфену,
Родила как-то в ночку
Деду — старому хрену...

А теперь погляди-ка!
Поднялось твое племя.
Сколь ни есть нас на свете —
Ты царишь надо всеми!

Ты для нас, Василиса,
Корень всей нашей жизни!
От тебя повелися
Мы в любезной отчизне...

Поэт счастлив своей многоликой сибирской родовой, что, взойдя от могучего бабкиного корня, разбрелась по белу свету и выращивает урожаи, строит заводы, пишет стихи и сказывает сказки, бдительно охраняет мирный труд Страны Советов.

С неменьшей гордостью пишет Михаил Скуратов и о пращурах наших, что в веках затерялись, как ветошь-трава. С полным правом он утверждает: хотя в простонародных российских сословьях не велись родословные и многие имена напрочь забыты, — прадеды наши «был знатный народ».

Историческая тематика занимает особое, первостатейное место в творчестве Скуратова. Ему удается мастерски воссоздать минувшего картины, выписать образы первопоселенцев и покорителей безмерных сибирских просторов. Он находит особо твердые слова, когда пишет о безвестных предках, кои на ангарском суровом безлюдье копили слободки, строили бани, корчевали тайгу, пахали елани и, вымостив своими костьми посады и веси, сделали Сибирь обжитой и нераздельной частью России. Это все отборная кость и богатырская стать, это все те, кто убегли от произвола помещиков и мздоимцев, покинули родные деревеньки и пажити и, преодолев тысячи верст, оставив позади себя широкие степи и каменные горы, вышли на немеряные сибирские просторы к берегам зеленоструйной Ангары, к грозным Братским порогам. И — запахло здесь Русью, дымом курных изб и предбанным угаром, звонко забил колокол в деревянной церквушке, с шумом подминая зеленую поросль, пали столетние кедры и легла первозданная пашня, а там, гляди, и поднялся

Братский острог и срубленные из кондового леса башни, две из которых сохранены и поныне...

А теперь в тамошних местах нет уже стародавнего Братска с хмурыми домами, как бы выхваченными из XVI века, нет и башен, которые переселились на новые места, нет грозных Падунских порогов... Огромная светлая плотина перегородила своенравную и бурную Ангару; зажглись над синь-рекой голубые звезды Братской ГЭС — электрического солнца Сибири...

Обо всем этом живо, ярко и образно пишет поэт:

Живу в Москве... а в Братске
Дела теперь творятся
По-русски, залихватски,
Аж не придумать, братцы!

У Падуна-порога
Вздымается плотина,
Близ Брацкого острога, —
Бишь крепостцы старинной...

О чем бы ни писал Скуратов — о временах ли стародавних или днях нынешних, — на первом плане у него всегда сибиряки, люди железной воли, дерзновенных замыслов, несокрушимого здоровья и физической силы, ясные духом и полные беззаветной любви к матери-родине, к новой преображенной Сибири.

Сколь наречий разных и племен
Средь полей, раздолий и тайги.
Все родня моя — с каких времен?
Разузнай да счесть их помоги!

Косоглазый и скуластый люд,
Казачье и старожилый род,
Бродяжня, кочевники из юрт, —
Это все — чалдонный мой народ!

Перебродит смешанная кровь,
Чтобы дух таежный не размяк,
Чтоб в другой украсился покрой
Разнородный, статный сибиряк.

Всех сроднил сибирский их уклад, —
И в тайге исподтишка возник
На иной, на современный лад
Разговорный русский наш язык!

Мастерское владение языком делает у Скуратова объемными и зримыми сибирские пейзажи; природа и человек в его стихах неотделимы. Яркость и узорчатость словесной ткани, крепкие и звонкие повторы, чуткое внимание к народной речи, к песенному фольклорному складу придают многим стихотворениям поэта особую прелесть.

Как свежо, по-новому звучит у Михаила Скуратова всем знакомая, знаменитая сибирская «Подгорная»!

...Топ-топ, топоток —
Только слышен громоток!
Про «Подгорную» поют,
Каблуками в землю бьют.

Каблуками в землю бьют...
Веселится русский люд,
На подбор сибиряки
И друзья с Днепра-реки.

И «Подгорную» поют —
Черту лиха выдают!
И у Братского у моря
И потеха, и умора.

Пареньки вокруг девах
Так и скачут — ох да ах!
Ну, а девушки-молодки
На чечетку больно ходки.

Топ-топ, топоток!
Только слышен громоток!

Ах, жги-говори —
Расплясались до зари!

Разворчались старики,
Молодежи вопреки:
— Расплясались до зари —
Спать ведь надо, черт дери!

Немало написал за полвека работы чудесных стихов Михаил Скуратов. Есть у него стихи и поярче, посильней, есть и такие, где он в чем-то повторяется. Порой, когда я перечитывал одну за другой книги Скуратова, думалось: а не много ли истории, не мало ли сегодняшнего? Не много ли когдатошной, сгинувшей в небыль Сибири? Кто теперь о ней помнит? Да в том-то и дело, что должны все мы помнить — свое былое, свою историю! Есть же в литературе исторические романисты, так почему не может быть поэта-историка? Может и должен быть.

И все же в какие бы исторические дебри не забирался Михаил Скуратов, — он всегда наш современник. И я не могу не согласиться с Василием Трушкиным, который в предисловии к сборнику «Истоки» справедливо заметил: «Скуратов хорошо чувствует эстафету времени и поколений, он заставляет современного читателя ощутить родство свое с далекими предками, увидеть в их буйстве и отваге, в их свободолюбии и ратных подвигах, в труде и стройках их прообраз новой России, прошедшей путь от первых землепроходцев до первых в мире покорителей космоса...»

Давно Михайло Скуратов живет в столице, но всего милей ему родная сторонка, и мысленным взором своим поэт всегда устремлен к раздольям сибирским, к людям любимого края. Сибирь — вечные истоки его дарования.

все отдал, что мог

Обычно он читал стихи негромко, не спеша, отделяя слово от слова, а порой произносил их на одном дыхании, высоким голосом, распевно, и слова как бы удлинялись, обретали певучесть и звучную силу. Читая стихи, он будто врастал своей тяжелой, крепкой фигурой в подмостки клубной сцены или в прибитую, еще зеленеющую траву на колхозном стане. Изредка, скупым жестом, он подчеркивал, выделял ту или иную нужную ему строку, и строка крепла и наполнялась неведомым дотоле смыслом.

В последние годы, в рабочей ли, в студенческой аудитории, он любил читать — «Человеку так мало надо». Сперва, весьма даже серьезно, он пытался уверить слушателей, что и в самом деле

Человеку так мало надо —
Чтобы мама сидела рядом,
Колыбель чтоб была не тесной,
Чтоб сказка была интересной.

Человеку нужно немного —
Сухарей котомку в дорогу,
Горсть земли от порога родного
Да напутствия доброе слово.

Стихи звучали просто, душевно, и слушатели начинали уже верить, что и впрямь

Человеку немного надо —
Корку черную в дни блокады,
Да махорки щепоть на закрутку,
Да на сон хоть одну минутку.

Человеку, — скромно так, — снится:
Вот дойти бы живым до границы,
Потеснить врага за кордоны
И спокойно вернуться до дому.

Человеку всего-то и надо —
Чтоб за всю его жизнь в награду
Честь по чести его обмыли
И в родную землю зарыли...

Но чем дальше читал поэт, тем явственней в его голосе проступали какая-то лукавинка, хитреца и так чуть-чуть, так слегка — легкая издевка над произносимыми им словами. Потом он как бы обрывал стих на полуслове, вскидывал голову, обводил веселым взглядом слушателей и торжествующе, громко, во всю силу голоса восклицал:

Но не верьте ему, не верьте —
От рожденья до самой смерти! —
Что бы жизнь ему ни давала,
Человеку все мало, мало!

Человек только с виду тихоня
Да пока его кто не донял.
Копошится себе, не заметен,
Но за все на земле в ответе.

Даже если умрет он — не верьте...
Все, что сделано им — бессмертье!
В этом — главном — от века до веку
Заключается суть человека.

Ошеломленные неожиданным поворотом, слушатели какую-то минуту молча осмысливали стихи, а потом шумно и благодарно аплодировали.

В последние годы жизни Евгений Буравлев обрел и признательную аудиторию, и своих читателей, полюбивших его поэзию. Но так было не всегда. Жизненный и творческий путь его не был усыпан розами. Пожалуй, уж больно часто, может, излишне часто от роз доставались ему одни шипы. Потому, может, в житейском смысле был он человеком нелегким. Характер был у него сложный и противоречивый: мог недругу, в минуту для того трудную, отдать последнюю рубашку, и мог с другом своим надолго разойтись по пустякам. Признавал свои ошибки тяжело, подчас спустя годы, с душевной болью, но зато с открытым облегчением. Можно б было и не упоминать об этом, если б не сказывалось это на его творчестве. Порой, в запале, в своих стихах вступал он в не очень понятную читателю полемику, чаще всего с собратьями по поэтическому ремеслу. В таких стихах слышались отзвуки литературных споров, глухая неприязнь к кому-то, был вызов и гнев, и утверждение ведомой одному лишь поэту своей правоты.

Есть у Евгения Буравлева сильное, взволнованно и резко написанное стихотворение. Он неизменно включал его во все свои последние сборники:

А Вы смогли б, свободно, просто,
Без дани веяньям времен,
Свои стихи прочесть с помоста,
Где Стенька Разин был казнен?
Такие — чтобы не в угоду
Ни тем, кто судьбами вершил,
Ни тем, кто в трудный час народа
Лишь под ногами мельтешил?
Смогли б?.. Добро. Но прежде взвесьте,
Достанет ли ума и сил:
Ведь это здесь, на этом месте,
Начало правды на Руси.

Здесь в честь побед салютовали,
Скорбели в годы тяжких бед,
И здесь же тех четвертовали,
Кто был предвестником побед...
Ну, кто из вас предельно честен?
Готов ли он, как на суду,
Прочесть стихи на лобном месте —
У всей России на виду?

Слов нет, стихотворение впечатляющее, но... кому поэт бросает вызов? Несомненно, собратьям по перу. Но каким, кому? Ведь вольно или невольно, а выходит — и вопросительные интонации играют тут немалую роль, — что нет, не смогли бы эти, знаемые лишь автору поэты «прочесть стихи на лобном месте — у всей России на виду...» Но поэт еще раз вопрошает: «Смогли б? Добро. Но тут же взвесьте, достанет ли **ума** и **сил**...». Хочешь не хочешь, а закрадывается вопрос: а достало бы у самого автора ума и сил взобраться на лобное место и вопреки всему и всем прочесть **свои** стихи у всей России на виду?

Разумеется, не нужно понимать это стихотворение Евгения Буравлева буквально — оно в известной степени символично. Речь прежде всего идет о мужестве поэта и гражданина: поэт всегда, при всех обстоятельствах должен говорить народу правду и только правду, «глаголом жечь сердца людей». В этом стихотворение предельно ясно. И были во все времена поэты на Руси, и ныне их немало, говорящие громко и смело с народом. И это, безусловно, было отлично известно автору. Но, к сожалению, не всегда понятная читателю запальчивость, скрытые от него отзвуки поэтических или иных споров придают, если можно так выразиться, некий крен этому стихотворению, ослабляют его силу и зна-

чимость. Так, во всяком случае, мне кажется... Настоящий поэт — всегда личность. А Евгений Буравлев был личностью. Но, если не бедой, то несомненной слабостью иных стихов Буравлева оборачивалось то, что свою личность, свое личностное он не всегда смог переварить в котле поэзии, заставить читателя сопереживать, внушить ему свои мысли и чувства. Это присуще больше всего написанной уже в зрелые годы любовной лирике.

В одном из стихотворений Евгений Буравлев, отвечая упрекавшим его в скупости выражения чувств, писал:

Говорят, что я не лирик, нет,
По-чалдонски скуп на слово,
Что на вкус, на запах и на цвет
Каждая строка моя сурова.

Я и сам нет-нет да спохвачусь:
Стих суров.
Но никуда не деться —
Укрощать любые бури чувств
Жизнь меня приваживала с детства.

Что ж, в этом самопризнании поэта есть немалая толика правды. Жизнь его помотала изрядно. Родился он в семье строителей-железнодорожников в 1921 году. И все годы детства и юности перемещался вместе с родными с одного строительства на другое. Переступил впервые порог школы на Турксибе, а завершил среднее образование на станции Промышленная — в Кузбассе. В семнадцать лет он в Иркутске — учится в авиационно-техническом училище ВВС. Незадолго до Великой Отечественной войны окончил училище и до сорок пятого года служил в частях Военно-Воздушных Сил и инженерных войск. При яростном штурме крепост-

ных твердынь Кенигсберга был тяжело ранен. Грудь молодого офицера украсили орден Красной Звезды и боевые медали.

И после войны, без роздыха, он начинает работать в Полярной авиации Главсевморпути. А через два года возвращается в родную Сибирь и, как говорят, идет по стопам родителей: работает на сооружении железной дороги Салехард—Игарка, а затем Южсиба. В 1959 году принят в партию.

А литература, а стихи? Вот тут-то, в литературе, путь его несколько необычен. Стихи он начал публиковать не в юные, как это повсеместно бывает, годы, а зрелым тридцатилетним человком, прошедшим, как говорится, огонь, воду и медные трубы.

Как-то я спросил его: «Неужели в детстве, в школе, или потом, на войне, так-таки никогда и не писал стихов?» Он помотал головой и решительно ответил: «Нет, не писал». Признаться, я усомнился и вновь спросил: «Ну, а когда же и почему ты написал свое первое стихотворение?» Ответил он снова не вдруг, помолчал, а потом сказал: «Можешь не поверить, но когда и при каких обстоятельствах я написал первые свои стихи, я хорошо помню, а вот, как писал их, убей меня, не помню. Было это, прости за выспренность, в каком-то трансе, и я опомнился, когда стихотворение было готово».

Вероятно, так оно и было, и поверил я этому, но, грешный человек, все же опять спросил: «Ну хорошо, написал, но, почему вдруг и сразу: никогда не писал до того стихов, а тут взял и написал?» «Послушай, — как-то не проговорил, а вскричал он, и повторил, — послушай, первая книга, которую я прочел, научившись грамоте,

были стихи. И с той поры я только и знал, что читал и читал стихи, и чем больше читал, тем больше они становились как бы моими собственными. Иногда мне казалось, что это я сам написал вот эти и эти стихи. Понимаешь?»

Да, я понял. Возможно, и даже очень возможно, что собственное творчество может начаться и так.

В 1961 году, на сороковом году, Евгений Буравлев заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького и тогда же был принят в члены Союза писателей СССР. К этому времени он был автором двух поэтических сборников: «Кладоискатели» и «Родник у дороги». Было в этих первых книжках не так уж мало такого, что потом Буравлев не решался переиздавать, но было и главное: явственно обозначилась та ведущая тема, то творческое пристрастие, которое и сделало Евгения Буравлева подлинным поэтом — работа, труд человечий, и стало тем, что никогда не уставал гордо славить и воспевать поэт.

Итак, он член Союза писателей, на очереди выход третьего стихотворного сборника, но литературная дорога оказывается куда как нелегкой, и подчас шагать по ней, ух, как тягостно, и, бывает, ранят на этой литературной дороге, если не тело, как под стенами Кенигсберга, то душу, и чувствуешь себя в литературе так же одиноко и тоскливо, как во вьюжные, трескучие ночи на Салехарде. Однажды, в начале тех самых шестидесятых годов, когда он был признан поэтом, он писал другу, прозаику Олегу Павловскому:

— ...Я оказался, конечно, порядочной свиньей, что так долго не собрался тебе ответить. Но,

думаю, что это даже лучше, потому что утешитель из меня неважный — меня хоть самого утешать по три раза в день — да и вдуматься если, то не утешать нас надо, а заставлять работать с утроенной силой. Я убедился, что нужно все время не выбиваться из рабочего ритма — писать одну вещь за другой, править их, переделывать и не обращать внимания на насмешки всяких (...). Ну, назови мне хоть одного стоющего писателя, у которого бы все шло очень гладко и сытно в жизни? Только пузо никогда не предрасполагает к высокому творческому взлету. Надо быть страшно злым, враждующим со всей несправедливостью на земле, чтобы так же яро все это изобразить на своем полотне. Это факт. И я бы считал, что уже убедил тебя в этом, если бы, черт возьми, не потребность в простом, самом обычном куске хлеба, который даром никому (я имею в виду честных людей) не дается. Эта забота иногда вышибает из рабочей колеи, заставляет браться за ремесленные поделки, о которых ты писал.

Ведь что получилось у меня. «Землю» мою «зарезала» даже областная газета. И все потому, что люди не хотят подняться чуть повыше, стать чуть посмелее... Ждут какого-то указующего перста сверху — вот тогда да, тогда Вашу «Землю» дадим!.. Есть редколлегии, где... царит атмосфера равнодушия, бюрократии, личного спокойствия и дурацкой философии, а что скажет «княгиня Марья Алексевна!» Поэтому иные писатели и приспосабливаются и выдают «на-гора» все, что угодно коллегиям, а не народу. Вот в чем беда...

Пока «Земля» ходила по рукам, я написал еще одну небольшую поэму «Закоперщица», то,

что любой редактор оторвет с руками, и тоже запустил ее по кругу. Ее напечатали все наши газеты и набрали для мартовского номера «Сиб. огней» — безо всякого звука. Это дало мне на пока хлеб... А когда сидел совсем на бобах, взял у газеты командировку и рубанул для нее очерк, на коем тоже заработал, да еще сдал его отдельной брошюрой издательству. Если будет туго, покинь на время свой кабинет...

«Землю» я тебе не посылаю, потому, что для этого ее надо еще раз перепечатать, а у меня от всех этих печатаний уже отваливаются руки. Да и лучше, когда я тебе прочту ее сам. Интересно, что в Новосибирске поголовное большинство (кроме официальных лиц) считают, что «Земля» все-таки вещь, которую нельзя не прочитать. Но ни один не пошел к редактору и не сказал ему это же самое. Вот ведь штука какая!»

Да, действительно, литературная жизнь сразу же стала трепать немолодого уже человека, но начинающего поэта, без устали за уши. И крепенько! Отсюда и нервозный тон письма, и, быть может, не совсем справедливые упреки в адрес редакторов и редколлегий. Но факт остается фактом: поэму Евгения Буравлева «Земля», как и некоторые другие его вещи, журналы и газеты в те годы отказывались печатать. Теперь трудно установить, почему так сталось. Пройдет два-три года, и те печатные органы, что медлили с публикациями, поместят и «Землю», и «Первую плавку», и многое из того, что в свое время пылилось в редакционных портфелях. Тут важно другое: поэт не опустил руки, а продолжал работать, упорно и настойчиво. Появлялись все новые и новые поэтические и про-

заические книги, выходившие в Кемерове и Москве: 1956 год — «Первая плавка», 1961 год — «Красная горка», 1962 год — «Узнаю тебя, друг», 1964 год — «Моя работа — моя любовь», 1967 год — «Острова», 1971 год — Шестая гряда», 1974 год — «Работа»; вышло несколько очерковых и детских книжек. В театрах музыкальной комедии Кузбасса и Омска были поставлены две пьесы. Поэт начинал работать в полную силу, но тут пришла смерть...

* * *

...Так был ли Евгений Буравлев лириком, не напрасно ли сетовал на скупость выражения своих чувств? Думается, и был лириком, и сетовал напрасно. Напротив, бывало, что лирические стихи Буравлева были предельно обнажены.

...Костры... По всей земле горят костры.
В них — свет, тепло, начало жизни, смерти.
Не дай-то бог дожить до той поры,
Когда в моем костре огонь померкнет.
И мне все верится, что я люблю — горю,
Надеюсь, что не скоро осень,
Что встречу не одну с тобой зарю,
И есть еще что в наш костер подбросить.
Смешной старик, седая борода,
Я каждый день спешу на пепелище,
Хотя прекрасно знаю: никогда
Тепла в золе остывшей не отыщешь.

Или:

А ты двойную жизнь ведешь,
Я понял это вдруг,
Как будто всаживает нож
В лопатку верный друг.
И ничего святого нет —
Ни клятвы, ни семьи,

Ни вместе выстраданных лет —
Есть прихоти твои.
Есть лишь влечений тайных страсть,
Которым не перечь,
Испепеляющая страсть
И жажда новых встреч.
И жалок — как я ни зови
Тебя своей весной —
Бессилен дар моей любви —
Ты знаешь вкус иной.
И сам я жалок и смешон,
Но разве в жизни ждешь,
Что не врагом удар свершен —
А другом всажен нож!

Горькие строки! И было таких строк в его лирической поэзии не так уж мало. Но были другие — и их тоже было немало, — светлые, раздумчивые, радостно веселые. Я люблю, к примеру, такие буравлевские стихи, такие, казалось, простенькие и немудрящие, но какой заложен в них добрый заряд жизни, какое чувство нарождающейся молодой и нежной любви!

Кто вас выдумал, острова,
С птицей иволгой, с ягодой кислицей,
Где Наташка-сорвиголова
Робинзоном любила числиться?

Ей, бывало, ни в чем не перечь —
Берегись языка ее острого,
Если даже заходит речь
О ее спасении с острова.

Говорила: «Мои острова!» —
Хоть, чем кончится все, знала загодя:
Расправлялись мы с нею сперва,
А потом приступали к ягоде.

Но однажды, как-то весной,
Босоногая, в ситцевом платьице,
Поделилась тайной со мной:
«Робинзону скучно без Пятницы...»

И, от счастья на волосок,
Я признал острова Робинзоньими,
И до зорьки, уткнувшись в песок,
Наши лодки лежали вверх доньями...

Ну, а нынче вы, острова,
Неужели необитаемы?
В рост смородинник, в пояс трава,
Да черемушник с птичьими стаями.

Вот и берег. Дробинки воды
Держат ветви листами-ладонями.
Хода нет! — на песке следы,
И две лодки лежат кверху доньями.

Хорошо, право же, хорошо! Да и «Земля», та самая «многострадальная» поэма, которая долгое время ходила из редакции в редакцию, не зря была названа автором лирическим монологом. Поэт яростно восстает против ложного деления людей на «лириков» и «физиков», негодующе обрушивается на так называемых ученых, деляг, на науку ради науки, на черствых душой технарей, кои «от сессии до сессии не перелистывая ни Пушкина, ни Маяковского, не говоря об иных... со временем становились нигилистами, заявляли: — Мы практики! Нам не до них!..»

Так же яростно поэт восстает и против «лириков», тех, сдавшихся и уставших в пути, «что с молоду начинали с жаром», а ныне «как спящие вулканы грозно молчат. Иногда, мол, и выбросят дыма колечки, но уже ни извержений, ни помпей. А из нынешней обмелевшей речки не утолить жажды — хоть пей, хоть не пей. Учеными, дескать, атом обуздан, путь в космос открыт. А что, дескать, лирики? Издателям обуза? Ничего-то они не видят дальше своих корыт!»

Ну, а «физики» как? «Летят раскованно без Шекспира и Некрасова. И на Земле начинается новая пора. Уже и Земля им не планета — планетишка! И гений человеческий — не вершина вершин! И железный разум — плод кибернетики — управляет приплодом людей и машин!» Неразумием людей природа Земли опустошена, Земля гола и холодна.

Поэт предлагает читателям представить, пусть немыслимую, пусть предельно фантастическую, но такую картину: на Земле взяли верх «физики» и, рассчитав вес ракет и полета режимы, готовятся отправиться в космический путь, к далеким звездным мирам. «Физики» покидают без особого сожаления Землю. «И — все. Мертво, как в заброшенном доме. Ни одной живой души — вечный покой. Лишь забытый робот в предсмертной агонии железно вцепился в землю скрученной рукой». А бесстрастный «физик» уже «хвалится в кругу марсиан: — А Землю-то, знаете, я довел до ручки!..»

Вот главное — зачем и почему написана поэма. Поэт гневно возвышает свой голос против всякого и всяческого неразумного обращения с природой, с Землей, он протестует против бездумных утверждений, что природные богатства безграничны, что человек может Землю-природу «покорять» бесконечно, кому и как заблагорассудится. «Выдаивай землю, процеживай море! — укоряюще восклицает поэт.

А пока... Ведь и двадцатый век еще не прожит,
Впереди еще столько всевозможных открытий,
А человек уже очень многое может.
Даже Землю взорвать, если хотите!

А кое-кто и пытается. Времена инквизиций
Давно канули, как говорят, в Лету.

Уничтожать проще, чем упорно возиться
Над тем, чтобы прекрасней сделать планету.

Ах, да! Законы. Но говорят же в народе:
Закон — что столб, с ним не шути,
Перепрыгнуть его невозможно вроде,
Но зато очень просто и легко обойти.
Неужели так нужно? Неужели так будет?
Но вы видели, как сели в космические корабли
И покинули голую Землю люди...

Нет, не должно быть так и не будет! Поэт предупреждает, поэт с жестокой откровенностью говорит о том, что может быть, но он твердо верит, что Земля, прародина и колыбель человечества, не останется голой и опустошенной. Радостным гимном Земле и разуму человечьему звучит концовка поэмы.

Нет, ни счетным машинам, ни синхрофазотронам,
Ни атомным реакторам не разъять и не решить,
Из каких протонов, нейтронов и позитронов
Состоит ядро человеческой души.
И нет, не атомные — иные реакторы
Рождают энергии такую громадину,
Что бледнеют физики и даже редакторы.
Со своей серой и со своим радием!
Этой энергии — не лучево-лучистой! —
Достанет в реакторах наших сердец
На труд и на песню, и на бой нигилистам,
Предрекающим лирике бесславный конец.
И вот люди, проникнувшиеся любовью
К лесам и рекам, ко всему живому,
Отношенье к Земле ремонтируют, как кровлю,
Грозящую разрушеньем отчему дому.
Я вижу, как земли, заботливо ухоженные,
Воздают человеку за любовь сторицей —
Молочными реками, янтарной рожью,
Голубыми льнами, солнечной пшеницей.
Вижу, как люди собственными руками —
Добровольцы из Тулы, Марселя и Гвадалахары —
Сдирают с планеты, воюя с песками,
Желтые пятна Кара-Кумов и Сахары.

Вижу, над вершиной, куда нам взбираться,
Знаменем кумачовым восход заалел:
Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство
И счастье всех народов на всей Земле!..

Вот так и будет! В это твердо верит поэт, в этом всей силой своего мужественного, проникновенного слова убеждает читателя.

Да, Евгений Буравлев был лириком, и в лучших своих лирических стихах он находил точные, единственно нужные слова, проникал в самые сокровенные стороны человеческой души, и открыто, безбоязненно открывал свою душу. И в лирике своей он активно занимал гражданскую позицию. Он шел навстречу читателю, он утверждал — «люди не могут без песен, мир без песен так тесен».

* * *

Жизнь он знал не понаслышке, постигал не в творческих командировках. Он не изучал своих героев — он жил вместе с ними, рядом, — в палатке, в окопе, на аэродромах, на больших и малых стройках. Вместе с ними, своими героями, он летал на военных самолетах, ходил в атаку, укладывал шпалы и рельсы, возводил дома. И потому работа, труд, деяние и созидание — едва ли не главные темы его поэзии. «Моя работа — моя любовь» и просто «Работа» — так названы два московских сборника поэта. «Из заполярной тетради», «На Южсибе», «Кладоискатели» — так обозначены разделы его первого стихотворного сборника. «Корабельный гвоздь», «Бригадир», «Закоперщица», «На новом Кузнецкстрое», «Одной был плавки весь металл», «Красная горка», «Первая плавка», «Баллада о

слове «надо» — таковы и подобны им заголовки многих стихов и поэм Евгения Буравлева.

Если в первых своих книжках поэт еще ищет себя и свое слово, если поэтическая его строка еще шатка, если наличествует в этих первых книжках скоропись и гладкопись, длинноты и повторы, чужие, может, невольно заимствованные ритмы, если он не так уж своеобычен, то чем дальше с годами, крепнет и наливается художественной силой строка, и стихи его уже становятся тем, что мы называем — поэзия.

Я не пишу некую обобщающую, подводящую итоги творчества Евгения Буравлева статью, не прослеживаю его поэтический путь от истоков до устья, я выбираю лишь то, что мне так или иначе близко, то, что, как мне кажется, еще долго будет нужно читателю...

Евгений Буравлев написал несколько поэм. Хочется остановиться на «Первой плавке». Поэма написана по горячим следам строительства нового, куда более мощного, куда более совершенного металлургического комбината, нежели прославленный на весь мир гигант, которого коротко нарекли КМК. Запсиб был объявлен всесоюзной комсомольской ударной стройкой. И со всех концов страны, по комсомольским путевкам и без оных, ехали на строительство Запсиба тысячи и тысячи молодых парней и девчат, ехали потомки тех, кто в гражданской отстаивал родную советскую землю от иностранных интервентов и белых, тех, кто водрузил Знамя Победы в логове поверженного фашистского зверя — Берлине, тех, кто в свое время возводил Магнитострой и Днепрострой, а потом, после Великой Отечественной, возрождал из руин и пепла страну.

И идет перекличка времени —
Поколения с поколением,
Комсомольского роду-племени,
Обработанного калением.
Только нет уж, размах не втрое —
Во сто крат, пожалуй, пошире
На новом, на Кузнецкстрое,
В самом сердце Сибири!
Только такие крылья,
Такое у ребят небо,
Что становится былью
Любая вчерашняя небыль.

«Первую плавку» поэт посвятил «молодежи и первому комсоргу Запсиба В. Карижскому». Я хорошо помню этого высокого, красивого, по-спортивному подтянутого парня, которого в шутку друзья называли «смерть девкам». Но Славе, Славке, — так, по имени, не иначе, обращались к нему на стройке и молодые ребята, и убеленные сединами рабочие, — было не до девчат:

...А в сказке соседней —
Холод собачий,
Ну прямо ледник,
Не скажешь иначе.
Здесь комсорга
Верховная ставка.
Дал бы дорого
За тепло Славка.
Некогда Славке:
Устал — не до дров.
Работы у Славки —
Без них — будь здоров!
К берегу стройки —
Прибоя накаты,
Выслужив сроки,
Едут солдаты,
Едут с путевками
Комсомольцы,
Кузнецкие — толпами —
Добровольцы!

С волной светлой
Нанесло постепенно
Со всего света
И всяческой пены...
И воюет Славка:
До плавки чугуна
Людей переплавка
Идет, как война.

Вот это-то «война» Славки и комсомольцев за «переплавку людских сердец», пожалуй, главная суть поэмы. Нет, и здесь Евгений Буравлев, может, как ни в каком другом своем произведении, не устает петь величие и мужество труда советского человека, со всей поэтической силой, на какую способен, рисует, раскрывает многогранный, героический характер советских людей.

«Майна!» да «вира!»,
Да ветер в лесах,
Да бас бригадира:
«Даешь чудеса!..»
И — блок за блоком —
Встают дома.
Локоть об локоть —
Молодость сама.
Земля — тверже есть ли? —
Клиньями бьют,
Но какие песни
Зато поют.
Какие девчата
Упрятаны в ватники!
С трапов дощатых
Валятся десятники.
На холоде палящем
С утра до ночи
Пышут сибирячки —
Девчонки-чалдоночки!
Парни рисуются —
А ну, кто сильнее?!.
И растет улица,
И люди с нею.

Растут, наливаются
Молодой силой.
Новый рождается
Город у России!

Но на большой и славной стройке есть, увы, и та «всяческая пена», которую нанесло сюда бог весть откуда. Вот

Бездомным волком,
Очумев от лени,
Бродит по поселку
Колька Зеленин.
«Ни клуба, ни веселья —
Ничего нету.
За слепой метелью
Не видно свету.
На улице, вечером,
И делать нечего!
И нет на похмелье
Ни капли зелья!

Мечется, рыскает Колька по поселку и вспоминает, что нынче-то 8 Марта, «праздник бабский» и, может, зайти в прорабскую, где окна светят ярко?

Зайти? Там же Лушка!
Но вот ведь штука:
У нее подружки —
Зеленая скука.
Сиди, что икона,
Зевай с ними вместе...
Нет, лучше по вагонам:
Может, выпить есть где?
И вообще пора бы
Когти рвать отсюда.
Мне эти прорабы —
Гири по полпуда.
Мне эти комсорги —
Душу тут вынут:
Видят по морде —
Мне здесь не климат...

Бродит неприкаянно по поселку Колька Зеленин, а в это время Лушка, одна-одинешенька «горько плачет в подушку»:

«А счастье — какое?..»
Сошелся клином
Свет на Николе.
Думает дивчина:
«Может, я дура?
Завмагазином —
Это ж фигура.
Женихов — только свистни —
Найдется столько!..
Но вот уж истинно —
Не жизнь без Кольки...

Ох-о-хо! — вот пишу и думаю: куда ж заведут меня цитаты? Всю-то ведь поэму не процитируешь. Можно коротко ли, подробно, но хорошо и вразумительно передать содержание повести, рассказа, даже большого романа и тем самым заинтересовать читателя, побудить его прочесть роман, повесть... А как же быть со стихами, как быть с поэмой? Много ли дает читателю пересказ поэтических произведений, как бы хорошо это ни было сделано? Боюсь, что мало, боюсь, что такой голый, схематичный пересказ может и отвратить читателя от поэзии. Ну, в самом деле, есть вот в поэме горячий и умный комсорг Славка — до всего ему дело: и до того, как идет стройка — ладно ли, как нужно, и до того, как живут ребята — в тепле ли, обуты, сыты? Или веселы они, или горе какое у них? До всего есть дело Славке, до всего дело его дружкам — комсомольским активистам. А тут хорошая, обездоленная девчонка Лушка, что как в трех соснах заблудилась в своей любви к непутевому Кольке... А Лушка «на пьяной пирушке проиграна в карты» бандиту. И смертель-

но ранена Лушка, и тяжкое, казалось, неотвратимое подозрение пало на Кольку. И никуда от этого ему не деться...

Ну, конечно же, скажет дотошный читатель: все ясно — не может погибнуть Лушка, снимут обвинение с Кольки и всем миром навалятся комсомольцы на Кольку, «переплавят» его душу, изменится Колька и станет человеком... Все так и, конечно же, не так. Так, если по «голой сути» поэмы, не так, потому что это — поэзия. А поэзия — это «вся езда в незнаемое». И в незнаемое «едет» не только поэт, «едет» и читатель. Истинный поэт должен всегда открывать и утверждать себя в поэзии, но настоящий читатель тоже должен открывать в поэзии ее творца. Стихи надо читать. В стихах важен не только смысл сам по себе, но и звучание слова. Читатель своим восприятием, словно камертоном, должен прослушать тональность этого слова, ощутить вкус слова, его запахи и краски. А поэтическое слово имеет и свое неповторимое звучание, и свой вкус, и запах, и свою многокрасочную палитру. Читая стихи, читатель должен становиться лучше, чище, душевней. А поэт должен вести за собой читателя, звать вперед и только — вперед!

Взволнованно, горячо, с великой любовью к своим героям, гордыми строками завершает Евгений Буравлев поэму:

...Бродит город, глазаст,
У подножья горы,
Где три года назад
Разводили костры,
Город в робе рабочей,
В рукавицах трехпалых
Бродит, бревна ворочая,
Блоки, рельсы и шпалы.

Свой устав есть у города, —
Неспроста
Здесь все гордые:
— Свет коптить не позволим мы!..
— Дармоедов видали мы!..
Здесь гордятся мозолями,
Как на фронте — медалями.
Есть у города правило:
Жить такою семьей,
Чтоб тот сплав не расплавило
Даже в домне самой!
Есть и свой у глазастого
Лозунг, вскинутый ввысь, —
Не привычный «Да здравствует!»,
А «Даешь коммунизм!»
И глаза у героев
Полыхают огнем:
— Нам его строить
И жить при нем!..

Думаю. Верю. Откроют когда-нибудь на Запсибе музей истории стройки, музей трудовой славы. И будет в этом музее среди многих экспонатов, реликвий, документов, портретов Героев Социалистического Труда и орденоносцев, будет, обязательно будет и портрет и поэма «Первая плавка» Евгения Буравлева. Поэт славил героический труд и молодость Запсиба. Молодые строили металлургический гигант и строили свою жизнь, и поэт воздвиг литературный памятник первостроителям Запсиба, их неиссякаемой силе и духовной красоте...

* * *

...Он много курил. Особенно в последний год жизни. Только-только тушил окурок в пепельнице и снова зажигал новую сигарету. Дома, на кухне, за узким обеденным столом, покрытым старенькой клеенкой, в клубах сизого дыма, читал стихи. И голос его звучал глухо и печально:

Биография начиналась так!

С фронтов гражданской войны возвращались бойцы, и в голодный двадцать первый год женщины рожали детей — «лишь бы только продолжить род». А спустя двадцать лет, едва встав на крыло, уже сыновья уходили на новую, Отечественную войну. И «— у знамен отцов — мы клялись не упасть в грязь лицом...»

А потом — медаль за Берлин,
И работа — с зари до зари.
А потом из житейских былин
Книжки тоненькой первый блин.

Он делает паузу, шумно переводит дух, а потом на одном дыхании, уже громче, не так глухо:

Биография начиналась так:
Был рабочим столом верстак, —
Мы писали стихи не для тех,
Кто живет только ради утех,
Ради модных штиблет и рубах,
И усмешечки на губах.
И до самых седых волос
Мы работали на износ, —
Не отсиживались в кустах:
Биография начиналась так!

Он умолкает, с силой вдавливает окурок в пустую консервную банку и раскуривает новую сигарету...

В одном из стихотворений Буравлева, посвященных старому поэту, есть такие строчки: «Он все отдал, что мог, у него ничего не осталось». Эти слова с полным основанием можно отнести и к самому Евгению Буравлеву.

Он отдал все, что мог, людям...

Содержание

В. П. Трушкин. Источник тепла и света. 5
ПЕВЕЦ РОДИМОЙ СТОРОНЫ 9
СОЛДАТ ПОЭЗИИ 30
ЦЕНА СТРОКИ 47
ИСТОКИ 67
ВСЕ ОТДАЛ, ЧТО МОГ 73

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
г. Гурьевск
Кемеровской обл.
67625.

ИБ № 182

Анатолий Николаевич Срывцев

ПОЭТЫ С НАМИ

Литературные портреты

* * *

Редактор *Т. Н. Махалова* · Оформление *В. Кравчука* · Художественный редактор *А. С. Ротовский* · Технический редактор *Г. В. Адова* · Корректор *Е. И. Тимощук.*

Сдано в набор 20.XII.1977 г. Подписано к печати 13.III.1978 г. Формат $70 \times 90^1/_{32}$. Бумага типографская № 2. Усл.-печ. л. 3,51. Уч.-изд. л. 3,87. Тираж 10 000. ОП00238. Заказ 16428. Цена 40 коп. Кемеровское книжное издательство. Кемерово. Ноградская, 5. Полиграфкомбинат. Кемерово, Ноградская, 5.

40 коп.

Кемерово 1978